

Виктора Петровича зачислили на учебу в Москву на двухгодичные Высшие литературные курсы, и он пермякам-писателям и писательскому начальству заявил, что после курсов в Чусовой не вернется, ему даже дорога на электричке от Чусового до Перми и обратно, пока он сотрудничал на областном радио, обрыдла, что творческой среды нет от жизни глухой и чумазой, где даже снег белым не бывает, когда и кошки, и козы, и люди — все серые и чумазые, устал, глядеть на это уж не может и жить далее не будет.

В Перми, в центре города, строился дом, в котором и была вырешена Виктору Петровичу квартира. Пермское и, в частности, писательское начальство урезонило Виктора Петровича, мол, здесь родился как писатель, организация уже по-хорошему заявила о себе и пополнилась еще одним членом Союза писателей, и как-то не очень благодарно он поступит, если уедет в другой какой край или город. Тогда и взялись руководители города решать квартирный вопрос для писателя Астафьева.

В издательстве главным редактором работал удивительный человек, образованнейший и деликатный — Борис Никандрович Назаровский. У него на бывшем Винном заводе — так по привычке называлось то место — была дачка, вернее банька, приспособленная под дачку, и Виктор Петрович очень его просил подыскать для него избушку, да хорошо бы поближе к речке — как же он без природы-то, без рыбалки-то?! И Борис Никандрович в скором времени встретился с бывшим мельником, жившим в деревне Быковке и продававшим свой дом вместе с пристройками. Сначала Виктор Петрович с Борисом Никандровичем сходили туда — деревня маленькая, стоит на очень красивом месте, от большой воды с парохода идти километра три, а внизу, около дома, за баней течет говорливая, до слезы прозрачная и студеная вода — зуб ломит, — и харюзки водятся! В уторе — клубника, дальше — земляника, малина. И дорога от Винного до Быковки идет сквозь сосновый бор и по обочинам черника да земляника...

Купили мы эту избушку и долго приводили ее в порядок, и артельно, и поодиночке, только две старых ямы со сгнившими срубам, где когда-то хозяева хранили овощи, — забили хламом до отказа. Много, очень много потребовалось времени, силы, упорства и еще Бог знает чего, чтобы привести все в нормальный жилой вид и состояние. В одной «конюшке», выбеленной, оклеенной, с ровненьким промытым полом, который покрыли двумя половичками, мы оборудовали кабинет Виктору Петровичу. В

другой — столовую с раздвижным круглым столом посередине, над ним висят лампа, у стен скамейки и табуретки, незастекленное окно затянуто марлей — и это было любимым местом, где после обеда или ужина подолгу засиживались за разговорами и про книги, и про рыбалку, охоту, и вообще «за жизнь».

А под развесистой черемухой, за столиком, вкопанном ножками в землю, пили чай или холодное молоко, или бражку — все шло за милую душу.

Мы большую часть времени летом и даже зимой проводили с Виктором Петровичем в деревне. Конечно, плохо, что там не было электричества, иногда работал движок, но переменчивое его напряжение еще хуже утомляло глаза. А работалось там Виктору Петровичу хорошо. Сутра, после завтрака, он почти ежедневно, если ничего не мешало, сидел за столом. Я, сделав дела по дому, усаживалась за машинку, которую устанавливала на кухонном столе, а поскольку почерк у Виктора Петровича далеко не каллиграфический, да еще и правлено не по разу, то я уж привычно читала текст вслух, и если язык спотыкался, значит, неправильно прочитала — обчиталась или не так разобрала правку. Помню, сидела на раскладушке в кухне жена близкого друга Виктора Петровича — очень они подходили друг другу: смеялись, так уж во весь голос, раскатисто, пели — тоже, а уж болельщики были хоть за футбол, хоть за хоккей, бывало, схватятся, хоть разнимай, и объединяло их еще и то, что Александр Моисеевич Граевский, тоже бывший фронтовик, а в ту пору писал рассказы и, когда Борис Никандрович ушел на заслуженный, как говорится, отдых, стал главным редактором Пермского книжного издательства. Мы дружили, гостились, и они часто, и не по одному дню, гостили у нас в Быковке. Я печатаю «вслух», Ольга сидит, покуривает опустив голову и, когда я прервалась да не на минутку, она и спрашивает: «Ты чего замолчала?»

Много Виктор Петрович сам читал вслух, с интересом слушали, когда читали другие, потому что наезжий-то гость наш бывал в основном литератор, рыбак и охотник...

Как-то раз один писатель привез и оставил рукопись своих рассказов, даже не вычитанную. Вите это не понравилось, и он сказал, что на следующий раз ему выскажет про это неуважение — ни ко мне, мол, ни к труду своему...

Они утром рано ушли на охоту. Я управилась с делами, еще раз пробежалась по двум-трем рассказам, сварила обед, обдумывая что к чему, села за машинку и написала «Школьное сочинение», не принимая свое творение всерьез. На другой день подладила, подчистила, снова перепечатала и убрала. Когда приехали домой, в город — Витя на охоте простыл, а его постоянно подкарауливала пневмония, — значит, надо побыстрей

лечить его сподручными, так сказать, средствами. Он лежит на диване, я горчичники ему налепила и воспользовалась случаем, прочитала ему свое «Школьное сочинение». Он послушал — куда деваться-то, потом, пока одевался, спрашивает: «А кто это написал? Совсем неплохо. Ты, что ли? Надо будет предложить для начала в областную газету...» И немного дней прошло, приходит он домой, кладет мне на стол газету и говорит:

— На, любуйся! К добру ли, нет ли, но вот... напечатали.

Так впервые был напечатан мой рассказ «Детские годы» — так тогда назван был тот рассказ. Потом, когда я рассказ свой дописала, его напечатали в альманахе «Уральский следопыт», под названием «Ночное дежурство», позже, когда рассказ уже перерос в повесть «Отец», был издан отдельной книгой в Перми и переиздавался много-много раз. Последнее издание повести «Отец», уже дополненное новыми главами, было выпущено в «Детской литературе», и я на эту книгу получала — да и до сих пор иногда приходят — письма-отзывы, школьники писали по этой повести изложения или сочинения, и мне она особенно дорога тем, что писалась легко, со светлой печалью.

Живя в Быковке, я тонула, и едва меня спасли — в Камском море, — к тому же там меня «нашел» энцефалитный клещ. Но, слава Богу, я жива. И по-прежнему, несмотря ни на что, считаю, что в Быковке прошли наши лучшие годы, так много друзей приезжали к нам туда и велись длинные, интересные разговоры. Какие мы тогда были еще молодые и иногда даже до отчаянности веселые. Все это будет долго и светло печалить мою душу. Осталась и живет в сердце надежда, живет любовь, неизменная и неистребимая. А печаль от расставания — так она, печаль, не любит оставлять радость в одиночестве, так было во веки веков, так есть и поныне...

А расстались мы с Быковкой потому, что Виктор Петрович решил сменить место жительства и переехать в Вологду. До этого, года два-три назад, когда он получил такое предложение — переехать в Вологду на жительство, — Виктор Петрович тут же отказался, сказал, что здесь большая влажность, и я со своими слабыми легкими здесь сразу погибну. Я подумала, как он разумно решил — последнее здоровье оставлять здесь, в Вологде, наверное, не стоит.

Но когда он вступил в тайную почему-то переписку насчет переезда в Вологду — я не расспрашивала, я только чувствовала. А однажды, когда в его кабинете был наш общий знакомый и он дал почитать ему телеграмму о том, чтоб приезжал и выбирал квартиру по сердцу, но, завидев меня, втолкнул ее в ящик письменного стола и сбивчиво забормотал, не зная, о чем гово-

рить, чтоб замять прерванный разговор, — я избавила их от этой неловкости, ушла.

Дни идут. Пока о переезде ни слова, ни полслова, вечером вдруг они с Ириной — Андрея уже проводили в армию — «пошли на меня союзом». Ирина прямо как на собрании выступала, настаивала и предлагала мне быть умной, если я на это способна. Виктор Петрович сказал, что вопрос о переезде уже решен, а если ты не хочешь ехать — оставайся лавка с товаром...

Года за два-три до того, как Виктор Петрович решит переезжать в Вологду, мы были туда приглашены вологодскими писателями как бы в гости. Была организована поездка на теплоходе до Великого Устюга, но прежде нас свозили в Феррапонтово, в Кириллов, в Прилуки, показали и другие примечательные места этого старинного города, когда-то предназначавшегося быть столицей российской... Много прекрасного и в самом городе, и в окрестностях мы увидели и узнали. Но, к сожалению, не только прекрасного... Такое, наверное, присутствует и во множестве других городов и мест, но в Вологде, где было при царе сто, если не более, храмов, увидеть то, что мы увидели в одном из поруганных храмов, когда представитель обкома признался: «Мы показываем вам свой позор...» Это был более чем позор. В бывшем когда-то величественном храме, теперь с выбитыми окнами, с пробитой крышей, с осколками прекрасных в свое время разноцветных витражей, на полу, среди хлама, дерьма, разной ломи и обвалившейся штукатурки лежало распятие Христа Спасителя, беззащитно распластанное, рядом грудились обломки прекрасных настенных фресок, и это еще не все: кто-то из «прихожан» — грабителей и разрушителей — вытер грязные от земли и назема ноги о лик Спасителя... На это невозможно было смотреть без содрогания и невольного в душе вопроса: «Да как же они, нехристи, Бога-то не побоялись?!»

А поездка по реке Сухоне до Великого Устюга была интересна. В близлежащих от берега городах были встречи с населением и почти всякий раз угощали нас гостеприимно ароматной, великолепной ухой. Когда вернулись в Вологду, писатели и обкомовское начальство и предложили Виктору Петровичу переезжать сюда на жительство. Он тогда поблагодарил и отказался, сославшись на слишком сырой климат...

А спустя многие годы мы, уже жители Вологды и съехавшиеся на очередной семинар молодые и немолодые писатели, отработав несколько дней, обговорив, как обстоят дела творческие у авторов, одобрены или возвращены рукописи, собрались ехать в монастырь. Когда стали уговаривать и нас поехать тоже, Виктор Петрович сказал, что глядеть на умирающую Русь — разрушенные храмы, памятники, обезображенные, ос-

кверненные иконостасы, словно чувствуется всюду трупный запах, он никогда не поедет ни в Суздаль, ни в Кижи, особенно после того, как увидел валяющееся на полу распятие Иисуса и об него вытерты грязные, наземные ноги... Сожалею, что я современник всего этого...

Затем собравшиеся писатели и художники распорились о том, что одним ближе Бунин и Тургенев, чем Чехов, с этим не соглашались и В. Белов, и Ф. Абрамов. Абрамов — за деловое письмо. Виктор Петрович — за детали, описания.

Некоторые попытались предсказать, что же будет писать Виктор Петрович, когда закончит свой «Последний поклон, свое детство». «О чем писать — не наша воля», — об этом сказал еще поэт Рубцов.

Виктор Петрович рассказал, как, съехавшись на какое-то совещание, разговаривали, сбившись в один номер, и тогда Гранин и Бондарев вспоминали, как присутствовали на приемах у Хрущева. Первый раз было все помпезно, а в последний — Хрущев размахивал руками, стучал кулаком по столу и отчего-то напустился на Алигер. А мы, говорят, стоим у стенки, не дышим — оба бывшие военные командиры! И только Овечкин подошел к Алигер, взял ее под руку, вывел из зала и проводил...

А Евгений Иванович Носов, ездивший на похороны Валентина Овечкина, хмуро добавил, что изгнали из Союза писателей Прасолова — запил, заворовался... Снова, сказал, убеждаюсь — есть за что русских презирать.

Заговорили о Шукшине с горьким сожалением — временно ушел из жизни. И тут один писатель из Ленинграда сказал, что и нынче, и в будущем году еще много умрет людей. Виктор Петрович возмутился, мол, ты думаешь, чего говоришь? А тот: «Это не я говорю, а ученые. Нынче и в будущем году на землю поступит самое минимальное количество солнечных лучей, для сердечников — очень тяжелая атмосфера, многие и умирают от сердечной недостаточности...»

— А где же те солнечные лучи были, когда умер мой близкий и дорогой друг, Александр Николаевич Макаров? Я очень горевал, я плакал оттого, что нас так поздно свела судьба... Во время похорон я стоял в почетном карауле, смотрел, слушал речи... горевал. А когда узнал, что исключен из членов Союза писателей Александр Исаевич Солженицын... я пожалел, что меня не убило на войне... Это был самый черный день моей жизни...

А Витя мой опять загулял. И болит у меня сердце от тревоги — пьяный он становится каким-то озлобленным, и все у нас на грани. А страшно-то как! Так напряженно здесь мы с ним еще не жили. А вон в поздравительной открытке мне пишут: «Маша! Береги Витю. Он — комета в человеческом море».

Кабы в Машиной было это воле! Он и сам в такую минуту сказал, мол, наплевательски мы относимся к себе. А утром другого дня (это будет уже в Сибири) лежит на машинке: «Я как-то утром или ночью, может быть, осенью (весной не хочется) остановлюсь в пути и поверну обратно. Туда, откуда я пришел. Куда пойду уж безвозвратно, простившись с вами, люди, навсегда».

Но не с природой, всех нас породнившей. И пусть меня поднимут на увал, На тот увал, что ждет меня давно, за милою моею деревней. За бабушкиным огородом.

Пусть по распадку, где ходил я с ней по землянику, поднимут меня те, кого любил я и кому дорог. И пусть не плачут обо мне. Пусть словом или песнею помянут — и я ее услышу. Ведь говорят, что после смерти люди еще два дня слышат, но уж ответить не могут. Услышу из земли, сам став землею. Но перед тем, как стать землею, последней каплей крови с родиной поделюсь, последний вздох пошлю в природу. И если осенью увидите на дереве листок вы самый яркий, так, значит, капелька моя в листе том растворилась, и ожила природа красотой, которой отдал я всего себя и за которую немало слез я пролил, немало мук принял, и кровь не раз пролил.

Прощаюсь с вами, мои слезы, мои муки, кровь моя. Прощаюсь, веря, что рожденный в муках и живший муками, не мучаю я вас своим прощанием. Прощайте, люди! Я домой вернулся, я к матери моей вернулся, к бабушке, ко всей родне. Не будьте одиноки без меня. Жизнь коротка. Смерть лишь бесконечна. И в этой бесконечности печальной мы встретимся и никогда уж не простимся. И горести, и мук не испытаем, и муки позабудем, и путь наш будет беспределен.

Прощайте, люди! Умолкаю, слившийся с природой. Я слышу новое зачатие жизни, дыханье жаркое, шепот влюбленных... И не хочу печалить их собою, дарю им яркий листик древа моего. И мысль последнюю, и вздох, и тайную надежду, что зачатая ими жизнь найдет мир краше, современной. И вспомнит, может быть, да и помянет добрым словом, как Кобзаря, лежащего на берегу Днепра, меня над озаренным Енисеем, и в зеркале его мой лик струею светлой отразится. И песнь, мной не донесенная, там зазвучит.

Прощаюсь я с собой без сожаленья и улетаю ввысь, чтоб в землю лечь на высоте. Игу! Игу! Вы слышите, меня природа кличет! И голос матери звучит в ней, удаляясь.

И звуки умолкают в темной дали. Покой и мрак, который долго нился, не так уж страшен. Страшнее жизнь бывает...

Приветствую тебя, мое успокоенье!»

Почти все свободное время — от работы на машинке, от кухни, от домашних дел и когда приходили друзья и гости — у меня, к сожалению, уходило на обустройство квартир. Первая квартира, в которой мы поселились временно, была славная, и соседи милые и добрые, и почта напротив, через дорогу, где спустя время, а может, уж и в ту пору, жил Николай Рубцов. Но квартира была не то что не ахти, а как бы поменяли кукушку на ястреба: те же три не очень большие по площади комнаты. Ждали, когда достроится дом по этой же улице, но на Колиной стороне. Когда дом был готов, нам выделили в нем квартиру. Улица какое-то время была тихая. Напротив строился тоже дом, на нем работали эски. И когда я появлялась в кабинете Виктора Петровича, то с рукописью, то с иными бумагами, эски-строители живо и выразительно жестикулировали — советовали, как ему, Виктору Петровичу, надлежит поступить с женщиной. Это была беда не беда, беда началась чуть позже: над нами поселился почетный пионер города, старый большевик, которому плохо спалось ночами, и он расхаживал по квартире туда-сюда, а полы быстро рассохлись, не были сбиты, и половицы скрипели, как расстроенное фортепиано, отдавая гулкой болью в моей больной голове...

После завтрака почетный пионер выходил во двор и принимался колоть кирпичи с угла на угол и ими выкладывать клумбы, две: одну в виде серпа и молота, другую в виде звезды, по полведерку приносил откуда-то землицы и высаживал хилые росточки маргариток. Ребятишек во дворе много — им забава на весь день: раскидают, распинают те красно-оранжевые уголки — половинки кирпичей, цветочки притопчут, из свежей земли сооружают домики, пещеры и Бог знает что.

Я терпеливо старалась приводить квартиру в порядок, но бессонные ночи и головные боли путали мои планы.

Гости гостями, разговоры разговорами, а дела мои продвигаются вовсе медленно, потому что впереди бессонная ночь, головные боли, гвозди в стены идут плохо, больше гнутся.

Хорошо, что через дом располагалась кулинария, и она со своими горячими и пышными шаньгами — на вкус: со сметаной, с яйцом, с творогом, да обилие свежей рыбы, я уж не говорю о чудном сметке — вяленой, замечательной на вкус рыбке, ее в Вологде в ту пору ели походя, вместо семечек — все это очень выручало, однако, дела от этого не делались быстрее и удачливее.

Тогда мы сговорились с нашими друзьями из Москвы, художниками Юлей и Женей Капустиными, собкор «Известий» в ту пору Вадим Летов очень в том нам поспособствовал, и мы решили двинуть на Север, на Ямал.

9 сентября 1970 года поужинали вместе с Юлей и Женей и собрались на вокзал. Витя хотел купить билеты заранее, но продают только перед приходом поезда. Нам ехать до Лабитнанги. Света на вокзале нет, висят керосиновые лампы — как в войну. Кассирша нашла одно место в мягком вагоне, два в плацкартном, одно в общем. Купили. Расстроились, конечно, но распределились: я в мягком вагоне на верхней полке. Со мной чемодан, два рюкзака, ружье. Витя — в вагоне рядом. Женя с Юлей в плацкартном, но без постели, на голых верхних полках, — ждали, когда освободятся полки нижние. Витя всех попрощал и сказал, что в вагоне, идет до Лабитнанги (состав идет до Воркуты), нас перецепят — освободятся три места в одном купе и одно в другом. В Полое, мол, переберемся — это в час ночи, но поезд опоздал, и Витя в последний момент уснул. Перебрались едва живые — холодно. Весь день шел дождь. Пошла лесотундра, затем тундра и всюду — былые и действующие лагеря. Вечером с местами все образовалось, и ночь провели уж как господа. Витя, погрузившись, сказал:

— Сутки проехали, завтра будет дорога в тягость.

А Женя вообще дальше Куйбышева да Вологды на поезде никуда не ездил — все по границам. Юля же чувствовала себя декабристкой. А им еще наговорили, что там, куда едем, — снегу по пояс.

11.09.70. Проснулись утром — ослепительное солнце. Вдали как мираж в облаках проступали, как на кардиограмме — тонюсенькой полоской, — Уральские горы, прояснились, приближались склоны к линии. Часто встречались озера и реки, синие-синие. А в природе золотая осень! Бабье лето! Краски Ван-Гоговские или как у Р. Кэнга — не передать.

И за день заболели шеи, потому что мы весь день, пока ехали, вертели головами, бегали из купе в коридор и обратно!..

Перевалили хребет! На какой-то станции очень долго стояли. Там лагерь строгого режима. Огоньки мерцают в ущелье, далеко и глубоко уходящем вдаль, а огоньки в три нитки, ровные и непрерывные. Но не увидели из-за темноты главного, где горы подступают вплотную к линии... Что это был за день! Сколько див! Сколько горных прозрачных речек!

Созвонились, узнали, что рыболовный сейнер готов, и потащились с вещами на пристань. Расположились и в два часа дня отбыли по матушке Оби. На столе на палубе лодия. Пылем. Обь то в разливе, то близко подступают берега. Много уток, видели лебедей и стаи чаек.

Первая остановка в Вындыязы. Вечер. Взяли трех муксунов, сварили уху, пока уха варилась, сходили на берег. В сумерках я взбираюсь на осыпающийся берег и прямо натыкаюсь на старуху-хантыйку. Растерялась. Затем поздоровалась и сунула ей в

руку несколько печенюшек. Протянутая моя рука коснулась чего-то костистого, прохладного, будто не живого. Оказалось — это усохшая рука старухи-хантыйки, она была будто у первобытного человека, с длинными плоскими ногтями, чуть высовывалась из прорези жесткой, заношенной парки с выносившимся мехом. Во рту, в уцелевших зубах, торчала огромная сигарка, и исходил от женщины запах грязного тела и грязных одежд...

На берегу костер. Старуха неслышно переместилась ближе к костру, прикрыв лицо платком. А женщина помоложе — жена приемщика рыбы, поворчала, поворчала и отправилась в полог. Утянулась туда и старуха. Мы спросили, почему она закрыла лицо? Нас боится? «Нет, меня, — ответил приемщик — он зять старухи. — Такой обычай». С парохода крикнули: «Уха готова!» Что это была за уха!.. Я еще не сказала о вечерних, закатных красках на воде и окрест — слов таких нет, чтоб передать.

Зашел Саша Романов и попросил рассказать о поездке на Ямал. Мы наперебой рассказывали, а он все восхищался: «Ну, молодцы! Вон куда съездили! Вот какие отчаянные да хитрые!..» А поездка и в самом деле была удивительная!

Читатели принимают и воспринимают прочитанные произведения Виктора Петровича по-своему. Вот, к примеру, жена вологодского поэта, сама учительница и влюбленная в творчество Виктора Петровича, однажды сказала, как читала новые главы к «Последнему поклону» в журнале «Наш современник» и как не узнавала Виктора Петровича Астафьева, доброго, веселого и грустного, непосредственного и мудрого... Как ей хотелось остановиться, пойти и сказать ему, Астафьеву: «Витя! Что с тобой? Почему ты такой злой? Почему такой жестокий? Я так люблю читать твои книги, так упираюсь и наслаждаюсь ими, а тут не могу, не хватает духу продолжить... Я впервые такое почувствовала и пережила... И подумала: неужели человек, перешагнувший полвека — свой такой возраст, — враз делается жестоким, недобрый, злым... Неужели с нами со всеми так будет?» Витя сказал, что все есть: и усталость, и основания, и время, которое он описывал, было тяжелое, сложное, трудное. Мальчишка в таком возрасте особенно раним, не умеет, не может забывать и прощать своих больших обид и несправедливостей...

Получили письмо из Пермского драмтеатра с просьбой дать согласие на постановку спектакля по мотивам рассказа «Руки жены» по подготовленному когда-то киносценарию еще для киностудии под названием «Черемуха», и в этот же день последовал

телефонный звонок: звонило областное начальство по культуре. Говорили долго, по делу и о житье-бытье. Василий Иванович Белов был в это время у нас, сидел, слушал, наблюдал. В конце разговора Игорь Бурдин — пермский начальник культуры — поинтересовался: не хочет ли Виктор обратно переехать в Пермь, мол, Баранов — режиссер с телевидения — днями вернулся.

Витя ответил без раздумий:

— Нет! Мне хорошо здесь живется. Кроме того, скоро в журнале «Смена» появится моя статья, в которой я «абзацем» зацепил и пермское начальство, потому, думаю, у вас не появится желания, чтоб я проживал там снова.

А на предложение режиссера драмтеатра ответил согласием. И снова мне:

— А здесь перепечатай пока только места, — сказал он, — где много правки, и отдельно куски сцены, — и отдал мне рукопись. — Думаю, и после перепечатки придется править еще. И вот еще несколько «затесей» — тоже надо перепечатать, и хорошо бы побыстрее. А статью, написанную вчерне еще в Быковке, перепечатаешь как будет время — мне над ней тоже надо еще поработать...

И в этот момент Василий Иванович Белов грустно сказал:

— Я бы перед Ольгой (женой) на коленях стоял, чтоб она перепечатала мои рукописи, хотя бы с черновика. Я столько трачу времени и сил, пока переписываю рукопись для машинистки, чтоб все было разборчиво. А начну переписывать страницу начисто, и тут опять правка возникает, и получается...

— А ты, Вася, знаешь, нет, даже не представляешь: когда в Чусовом узнали, что я писатель, — чуть не со всей улицы, может, откуда и дальше, — шли ко мне с просьбами, чтоб я написал заявления разные, письма, жалобы, справки...

— Правда, что ли?

— Конечно. Маня не даст соврать. Но я должен сказать, она все это делать может куда лучше секретарши и даже многих начальников...

А теперь вот живем в Вологде уже столько времени, а Витя по-настоящему еще не работал, как опять же Вася Белов сказал, когда мы пришли к ним, — они переехали на эту квартиру более полугода назад, а книги как лежали в углу насыпью, так и лежат, и он это объяснил организационным периодом. Так и у нас. Но у нас есть тому причины — три переезда с квартиры на квартиру...

Снова думаю о своей спасительной, милой сердцу Быковке. Видя мои муки, в основном от бессонницы и «патриотических

дел» почетного пионера города — нашего верхнего соседа, Виктор Петрович без особых раздумий согласился поехать.

Первые годы нашей жизни в Вологде мы часто навещали в небольшую, тихую уральскую деревушку Быковку. Жители быстро и охотно приняли нас, как родно, и каждый наш приезд был для них вроде праздника. Они приходили то поодиночке, то один за другим, то ближе к вечеру, так и компанией, приносили кто что: молоко, яички, мед, картошку, капусту, иногда бутылку, заткнутую по старинке бумажной крученой пробкой, мутноватой самогонки, и получалось у нас застолье — это если мы долго не были, а когда жили в Перми и наши приезды были частыми и неспешными, тоже приходили, пили иногда с нами чай, слушали про городскую жизнь, рассказывали о деревенских новостях. Паруня, наша быковская соседка, съездив в поселок Ляды, где показывали кинофильм «Председатель» и желающих возили посмотреть на свою жизнь со стороны, отмахнулась рукой и сказала, мол, че смотреть про то, че каждый день видим, делаем, переживаем, а по ночам ревматизмом маемся. Лучше бы пол-литру поставили да колбасы за бесплатно, как бы гостимо, вот бы и посидели, и поговорили, может, че и спели... Однажды увидела, что я много наварила овсяного киселя, разлила по тарелкам да чашкам, чтоб остывал, а потом, в обед или в ужин, Виктор Петрович ел, посолив маленько поперху да полив растительным маслом, а я — с молоком, еще лучше бы со сметаной. Она смотрела, смотрела, подумала о чем-то про себя и заключила: «Ну, вы и жрать здоровы!»

До этого я занималась ремонтом квартиры, поскольку въезжали в нее, не ремонтировали. Через приятельницу, работавшую в организации, где занимались квартирными делами, договорилась с мастерами. Виктора Петровича не было дома, ремонт длился не день-два — квартира-то «с поле велика».

Жизнь пока проходит в основном в переездах да ремонтах. Много сил уходило на это — не успевала вроде перевести дух от одной громоздкой и нелегкой работы, как накатывала другая. А в Быковке я забывала обо всем, наступал отдых, благодать, и я чувствовала, как уходит усталость.

Добрались хорошо. Встретили Андрей и Толя. Ольга нажарила пирогов, под пироги и за встречу выпили маленько, поговорили и легли спать. Утром Андрей уехал в университет, Толя должен закупить продукты, мы с Олей тоже купили кое-что на базаре, собрали рюкзаки и поехали на вокзал. Забежала жена Миши Голубкова и принесла «подорожник» — горячий еще пирог. Мы расположились на пароходике — переправе, выпили бутылку вина, съели пирог и не заметили, как пристал наш «извозчик» у нашей пристани Степаново.

Первого мая у Виктора Петровича день рождения, поздравили, выпили шампанского и отправились пить березовый сок. Дед пошел к Наде Санниковой — пожилой соседке, жившей в одиночестве внизу за речкой, но не дошел, упал, подняла его Паруня, проходившая мимо, угостила его, уважила просьбу, и ребята нашли его спящим у Паруни в сенках на грязном полу.

Болеет после очень, но держался изо всех сил, не показывал виду. Второго мая после завтрака все отправились в огород. Ребята меняли или ремонтировали местами изгородь, Виктор Петрович занимался посадками, что-то пересаживал, потом принес из ближнего лесу маленькую листовницу, сосенку и кустики медуницы и хохлаток вместе с гнездовьем. Кстати сказать, Виктор Петрович всюду, где бы ни жил в будущем — это в Сибле, в деревне, где купим избу в Вологодской области, и в родной Овсянке, — будет оставлять о себе память — посаженные деревца, цветы или кустарники. Я копала гряды под мелочь.

На другой день были те же дела. К вечеру истопили баню, намылись, напились чаю и под разговоры уснули. Утром, позавтракав, Виктор Петрович сел работать. Вообще, в Быковке все те годы, пока мы жили на Урале и большей частью в Быковке, ему там всегда успешно и с большой охотой, плодотворно работалось. Вечером ходили гулять, и он, радуясь тишине, природе, покою, много раз вспоминал Бориса Никандровича Назаровского, который нашел нам эту деревушку, эти радостные, милые сердцу места. На Винном, говорит, не выдержали бы, давно бы все бросили.

В День Победы Витя все равно посидел за столом, поработал, после обеда они с Толей покончили с изгородью, а вечером пошел на вальдшнепиную охоту.

Дни здесь летят, и я уже с грустью думаю, что скоро уезжать.

На три дня съездили в Пермь, побывали у художника Е. Широкова; посмотрели на готовые уже портреты Е. Копеляна, Г. Товстоногова, Л. Чурсиной, Нади Павловой. Виктор Петрович сказал, что Женя — художник непредсказуемый: взял и нарисовал балерину без ног! Дерзко! И получилась очень выразительно, даже то, о чем она, балерина, так напряженно думает, передал так, что можно только удивляться.

Завтра рано утром нам уезжать — грустно. Очень грустно. Но если смотреть на Витю, то грустно — это не то слово, он уж много раз вслух и про себя сожалел, что пригласил ребят — вологодских писателей — съездить в Сибирь, и они уже ждут, что вот-вот поедут. На прощанье ребята и я с ними даже искупались в речке Быковке, хотя вода ключевая и кожу пощипывает, как в нарзанной ванне. Зато потом такое блаженное очищение, такая бодрость и благость, вроде даже глупеешь от восторга,

как Витя сказал, мол, хочется хулиганить, безудержно смеяться неизвестно чему, плескаться, пить эту пречистую, студеную воду... и очень трудно уходить от речки. Днем пошли на Винный, чтоб искупаться в море (Камском), уже кожа чувствует, как хочется снова окунуться в воду, но... пережили не удовольствие, а брезгливость и разочарование, потому что вода теплая и прозрачная с виду, но плывет по ней, Боже мой, самая зараза, слизь, лафтаки. Толя поплыл — за ним дорога из пузырей...

Сходили в оперный, посмотрели прекрасный балет «Испанские миниатюры» — не балет, а блистательное буйство красок!

Побывали в гостях у друзей — Граевских. Саша недавно вернулся из похода, очень интересного, хотя и трудного, — он сердечник — утром позвонил снова и все говорил, говорил и со мной, и с Витей. Утром вернулись в Быковку, к обеду приехали Саша Граевский с приятелем Борей Черновым и рассказали, как они уже съездили в аэропорт, перехватили прямо у трапа футболистов-торпедовцев. Они, страшные болельщики, привезли «Советский спорт» с автографами футболистов. Пришел Борис Никандрович с сыном Сергеем, балерина Марианна Подкина, скульптор Дадик Мустафин. Стряпали пельмени, жарили хариусов, на десерт — малина и земляника...

Только мы вернулись в Вологду, в этот же день Витя пришел в кухню и сначала долго, растерянно стоял, а потом уж собрался что-то говорить, но не решался — так бывает с ним, когда он плохо себя чувствует. Я и спрашиваю: «Витенька, тебе опять плохо?» — побежала за лекарствами в спальню. Вернулась, а он и говорит: «Очень». Я глажу его по голове, жалею и хочу понять — где, что болит... А он: «Саша Граевский умер...» — сказал и заплакал. Походил по квартире, всхлипывая, останавливался перед книгами, в окно смотрел и все повторял: «Ох ты, Саня, Саня! Бедный Саня! Эх, Саня, Саня... Сколько-то нам отпущено? Убираются помаленьку фронтовики... Бедный Саня...» Сказал, что поехать на похороны не сможет, мол, придется ехать тебе. Я собралась с силами — поехала.

Когда строительство дома по улице Октябрьской было закончено, он был готов к сдаче и в одном из подъездов была предназначена квартира для секретаря обкома или для резиденции выделена еще одна квартира, на бюро решался вопрос, кому занимать освободившуюся квартиру первого секретаря Вологодского обкома. И он, Анатолий Семенович Дрыгин, предложил, что ее надлежит занимать писателю Астафьеву Ви-

ктору Петровичу, переехавшему сюда из Перми, пока дела его квартирные никак не устроятся.

Вечером вместе с Василием Ивановичем Беловым и Василием Тимофеевичем Невзоровым (представителем обкома, нашим знакомым) я и Виктор Петрович пошли как бы смотреть, примериваться к месту, к квартире, где нам предстояло жить. Комнаты огромные, коридор широкий, потолки высокие — начальство в плохих квартирах не живет, это известно давно. Но когда я вошла в кухню, как сказала бы моя мама, с поле велику, — тут уж у меня язык не повернулся отказаться: не кухня, а удобный и не обиженный размерами кухонный полигон. Напротив входа в кухню узкий простенок и по сторонам два окна, слева, возле двери, двойная мойка из нержавеющей стали, и в углу, у стола, он же шкаф — для приготовления пищи, для посуды, — а рядом с ним, к окну ближе, расположена плита. Другая половина кухни свободна, и мы определили туда журнальный столик и по сторонам два негромоздких кресла. В простенок уперся торцом большой семейный стол. Освобожденная от мебели и всего прочего кухня казалась действительно полигоном, но когда в ту вроде бы необъятную кухню были стасканы и составлены банки, посуда, соленья, варенья и всякая кухонная утварь — сделалось тесно, через все надо перешагивать...

Виктору Петровичу кабинет определился сразу — бывший кабинет секретаря. Иринка облюбовала для себя боковую комнату с балконом во двор, квадратную, солнечную, славную. Гостиная с лепниной на потолке вокруг люстры и с бордюром по потолку вдоль стен — должна быть гостиной. Оставалась еще одна большая комната, в которой мы поставили две кровати, в углу мой письменный стол и тумбочку для пишущей машинки, а вдоль стены стеллажи для книг. Как известно, переезд — дело тяжелое, и было решено, как переедем, все обставим, облагородим — поедем на Урал, в милую Быковку.

Когда установили стеллажи в кабинете Виктора Петровича, диван, письменный стол определили по местам, Виктор Петрович походил, посмотрел и, не торопясь, изо дня в день начал расставлять книги, некоторые менял местами, отходил к двери — хорошо ли смотрятся, хорошо ли видны названия. Дело шло неспешно, но с удовольствием и обдуманно. Однажды я, как говорится, бегу впереди себя с сумками, света в окнах его кабинета нет, лишь тихо льется, звучит прекрасная музыка. Я скинула обувь, пальто, поставила сумки и спешу к нему в кабинет, спрашиваю встревоженно: «Витенька! Тебе плохо?» — «Нет. Лежу вот, прекрасную музыку слушаю — лютни с органом, а до этого рассматривал названия книг — какое унылое однообразие. Два-три оригинальных, а остальные — примитивные, вторичные... Мало братья-писатели,

особенно молодые, думают над названием книги...» Ну вот, значит, Виктор Петрович с чувством, с толком, с расстановкой расставляет книги, то что-то напевает, то наговаривает сам себе.

Иринка, определившись с комнатой, быстро, легко, без раздумья составила на стеллажи книги, диван поставила, как хотелось, пледом накрыла, шторы повесила, палас постелила, в стенке выделила застекленный шкаф и там расположила бижутерию, духи, флакончики, коробочки и прочие девичьи «игрушки», в секретере убрала свои бумаги, книги, учебники. Всем осталась довольна. На балконе поставила тумбочку-столик, стул. Одним словом, свое жилье она обустроила легко и быстро.

С двумя комнатами — гостиной и спальней — я управлялась довольно быстро: места много, что куда поставить — решить было нетрудно. Главным объектом оставалась кухня, в которой навалом было сгружено все: банки с соленьями и вареньями, посуда, полки и полочки и много всего, нужного в жизни человеку, но не подходящего ни для кабинета, ни для спальни, ни для гостиной и прочих жилых площадей. Все это надо было разобрать, определить по местам да так, чтоб удобно и практично, чтоб все как бы под рукой. И я старалась, как могла, сколько успевала и более того. А Виктор Петрович поставил жесткое условие: пока не разберешь все свои кухонные городки, пока кухня не обретет надлежащий вид, на Урал не поедем!

Пусть так. Мне переезжать не впервой. Обживать новое жилье тоже не впервой, и всегда эта обязанность из обязанностей лежала на мне, к тому же мне до сердечной тоски хотелось поехать на родину, главным образом в Быковку. Я смиренно выслушала наказ мужа и взялась за дело, но ведь и дело-то, как оказалось, я должна делать в урочный час, чтоб и спать ложиться вовремя, и еда чтоб была... И стала я помаленьку ловчить. Ляжем спать. Витя повернется на своей кровати, почитает, погасит свет и мне велит гасить свет, мол, спать пора.

Ну, пора так пора. Лежу, выжидаю, когда Виктор Петрович начнет похрапывать, глубоко дышать, переберусь через него и в кухню, дверь прикрою — и пошла работа! Почувствую, что устала, гляну на часы — половина шестого! Направляюсь в ванную, мою ноги, умываюсь и, осторожно перелезая через спящего мужа, добираюсь до своей постели. Иногда проснется, спросит, чего холодная? «Да в туалет ходила...» И никто ни разу не спросил, не удивился: когда все разместилось по местам?..

До Перми ехали поездом, и Виктор Петрович вспомнил, стал рассказывать об одном своем попутчике, соседе по купе — тот ехал домой, возвращался из «отсидки». Маленький, щупленький, только катанки на нем новые и большие, и он их то снимал с ног и укладывал в изголовье, то снова надевал.

Спрашиваю, откуда и куда путь держит? И он рассказал за дорогу-то, как они с матерью в войну, оголодав вовсе, приспособились изготавливать из розовеньких цветочков иван-чая «цейлонский чай», подробно рассказал всю технику изготовления того чая, и они продавали его, как настоящий, свернув из бумаги пакетики, в каких и поныне продают огородные семена, насыпали по чайной ложке в пакетик и продавали. Торговля шла хорошо, да только до времени, до случая. Разоблачили нас и «определили» на определенное время в каталажку... Вот освободился, еду домой, к матери — ее из-за болезни освободили раньше.

Виктор Петрович так живо, так зримо рассказал это в тот раз мне — прямо бери и записывай, он и в самом деле собирался написать об этом рассказ, да так и прособирался и, вспоминая об этом, не раз сожалел, что «выболтал», а написать не написал.

Почти так же получилось с рассказом «Синие сумерки». В Быковке, как обычно, после обеда, он взял удочки и отправился на рыбалку — хариусков подергать, а я с рюкзаком за спиной отправилась на лыжах по «своей» дороге — подышать, покататься, на обратном пути, думаю, может, рябину увижу, так наломаю, или сосновых веток — на букет, такой от них стойкий и свежий запах по избе. Вернулись домой, напились чаю и, пока было рано зажигать лампы, улеглись на раскладушках, наблюдать такое удивительное слияние дня с вечером. За окном самые синие сумерки, в окно скребется яблоневая сухая ветвь. Когда-то, тоже в Быковке, Виктор Петрович изустно, без перерывов и сбоев рассказал от начала до конца прекрасный рассказ «Синие сумерки». Но обстоятельства не дали ему вовремя сесть за стол. Рассказ он спустя время все-таки написал, он так и называется, так названа и одна из его книг, но писал он долго, мучительно, и рассказ многое утратил от первоначальности — ушло время.

Однажды он ненадолго сходил в тайгу, хотел добыть рябчика, да охота не удалась, погода стала портиться, и он скоро вернулся домой, залез на печь и уснул. Проснувшись, сказал, что приснился ему странный, совершенно законченный фантастический рассказ.

— Будто здесь же, в Быковке, но летом, мы что-то за баней садили или выкапывали, — начал он рассказывать сон. — Вдруг все стихло, как бывает перед затмением солнца, оцепенело вокруг. Я глянул на небо, а оно сплошь затянуто сеткой, белой, воздушной, как облаком. Сетка похожа на ту, какую изображают на сладком пироге. Она пульсирует: то почти соединяется, сливается в общий покров, то снова растягивается... По сторонам посмотрел и увидел отовсюду движущиеся по земле молочные-прозрачные тени, попарно, семьями и врозь...

Это же инопланетяне! Мы залезли на печь. Витя взял ружье,

приготовился. Ждем. И тут увидели «их», уже просочившихся в избу. Выстрелил — никакой реакции. Они двигались по избе, затем, вытянувшись как струи дыма, потекли в двери, в окна, в щели на полу и на стенах... Там, вне дома, они снова обрели прежние формы и пришли в движение... Чего же в них стрелять? Они ж бесплотные! А как же тогда с ними бороться? Мы же привыкли инопланетян представлять по книгам и рисункам... Появился ученый в образе Бориса Никандровича Назаровского и говорит, что они не могут обитать в жарких странах. Для них вода, болота — самая благоприятная среда, что мы сами создали для них эти условия — искусственные водоемы, по-вырубали лес... Они уже не одну планету превратили в безжизненную. Давно уже наблюдают за нашей прекрасной землей. Теперь поняли, что мы не можем с ними бороться — нечем у нас от них защищаться. Весь лес они быстро сведут, и всюду будут расти травы, не мелкая трава-мурава, а зонтичные — пиканник, медвежья дудка и другие...

— А какие же меры принимаются против них? — спросил Виктор Петрович.

— А никаких, — ответил ученый. — Пока все земное человечество захватил прогресс: создание спутников, бомб, компьютеров, роботов, сверхзвуковых машин — самолетов. И еще: все очень много времени проводят у телевизоров. — Виктор Петрович это тоже уже отметил, что в парках, вокзалах — всюду огромные телевизоры, 30-40 программ, смотрят соревнования тяжелоатлетов, фигурное катание, хоккей, футбол, фильмы с сексом. — А чтобы «их» победить, нужно всю энергию, главным образом тепловую, сосредоточить на борьбе с ними — они не переносят жары. Люди спохватятся тогда, когда они сведут все леса, высушат моря и реки. Сетка, которой затянуто небо, — это высшие, наиболее организованные существа, они регулируют поступление солнечного тепла и света: то вытянутся, выпустят в «ячей» нужное количество, то спустятся — закроют... Никому пока невдомек, что все футболисты, штангисты и прочие выносливые люди с детства воспитываются в особых условиях и потому обретают эту силу. Все остальные давно уже обескровлены, не могут быстро бегать, поднимать тяжести, расправляться со зверем. Но, как и во всяком обществе, у них есть разделение на белых и зеленых, белые — высшие, зеленые — роботы.

Вспоминается трогательное и волнительное прощание с Уралом, с Пермью. В день отъезда под вечер стали собираться друзья и знакомые — более тридцати человек. Были тут и художники, и артисты, и издательские сотрудники. Слышим, по-

дошел уже автобус. Еще посидели, но разговор уже как-то не клеился. Выпивали помаленьку, закусывали неохотно, без шуток. Было сказано много милых, теплых слов, благожелательных напутствий, преподнесли много памятных подарков.

Все поехали на вокзал, и все еще не верилось, все думалось... Сколько здесь друзей! Здесь же родина! Куда? Зачем?

Когда я сейчас думаю, вспоминаю об этом, в груди делается что-то, от чего начинает першить в горле и пощипывать глаза.

Перед отъездом из Перми Евгений Широков — художник — начал писать портрет Виктора Петровича, с укоризною и обидой говорил: мол, будь бы я Микеланджело или кто, то Виктор Петрович отложил бы свой отъезд хоть на год, а тут...

Евгений Николаевич работает — пишет, Виктор Петрович позирует — но не позирует, а читает рукопись. Пришел художник Багаутдинов. Удивительное дело: у пермских художников какой-то особенный интерес вызывает творчество Виктора Петровича.

Для начала Виктор Петрович прочитал несколько «затесей»: «Туру», «Домский собор», «Как лечили богиню», «Вагонные разговоры», которые, он полагал, нигде не напечатают. Затем Виктор Петрович стал читать повесть «Пастух и пастушка».

Я проснулась рано, пошла умываться и, чтоб наскоро приготовить завтрак из того, чего есть, вхожу в ванную, а он, Багаутдинов, прислонившись к стиральной машине, как к тумбочке, читает повесть...

На другой день, рано утром, мы снова поехали в Быковку — Витя сказал расстроенному художнику, мол, делай, как знаешь, а мне надо в Быковку, мне туда хочется... Мне надо прийти в себя, подумать, пописать. Пообедали и отправились в лес. Клева не было, потому и уши не поели, как предполагали, но посидели у костерка, попили чаю, Витя обсушился — оступился в речку. Я набрала рябины. А он сидел у затухающего, такого умиротворяющего костерка, глядел вокруг, дивился и снова и снова говорил о том, что нет земли краше, чем Урал осенний.

Погода начала портиться, на Покров выпал снег. Витя сидел, работал. Написал очерк для журнала «Смена» — «Осенние раздумья». Начинать трудно — очень сильно расстроился желудок. Говорит, если б не обещал, не стал бы заниматься. А после расписался. Очерк получился волнительный, серьезный и грустный, действительно — глубокое раздумье. Я перепечатала, еще правил. Было бы хорошо, если б материал отлежался, но времени нет. В редакцию отправили к сроку.

Написал еще три новеллы-«затеси»: «Видение», «Звезды и елочки» и «Запоздалое спасибо». Кроме того, написал два письма: отзыв на статью О. Волкова для «Нашего современника» и представление очерка В. Легова для этого же журнала.

На другой день, когда напились чаю, прочитал мне вслух в кухне «Звезды и елочки», а после обеда все-таки сходил в лес.

Вечером читал в журнале «Дружба народов» вроде рецензию Вл. Семенова на «Синие сумерки». В том же журнале прочитал повесть «Кто распространяет анекдоты» — сказал, оригинальная, хорошо написанная.

Вечером долго не спалось, разговаривали, вспоминали-сумерничали. Витя рассказывал всякие случаи из жизни бабушки Катерины — он очень часто о ней вспоминает и рассказывает. Смеялся, припоминая, как она грешила с ним. Говорит, часто вижу ее во сне: как прихожу к ней в старую, пустую избу. Как и было все у нее в мой, говорит, последний приезд: ситцевые вылинявшие занавески в заплатках, ветхая клеенка на столе, одежда на ней — тоже... Посуды мало, и та ущербная, старинная... Два года жизни у них — это и было мое детство.

Сутра снова работал — он с какой-то жадностью работает здесь, в Быковке, будто боится, что не успеет, а в другом месте так уж не напишет. Я перепечатала и письма, и новеллы, и сказала: «Витенька, как ты здорово написал о елочках и звездочках! Прекрасно и грустно». А он: «Сейчас я только что закончил самую прекрасную новеллу-контру», — и прочитал «Братья». Я, пораженная, хотя историю, здесь описанную, слышала прежде, не зная, что сказать, шуточно молвила: «Значит, мне все-таки надобно сушить сухари...»

Потом Витя стал рассказывать о встречах — знакомствах с главными редакторами и какое кто из них произвел на него впечатление: «Кабинет у Александра Трифоновича Твардовского просторный и сам он большой, светлый, в белой рубашке. Лицо добродушно-серьезное. Поздоровался, пригласил проходить, садиться. Речь шла о моем рассказе «Бурелом». Он не навязывал своего мнения, не разговаривал покровительственно. Меня поражал его пронизательный ум. Говорил о природе и человеке, в каком положении и состоянии внутреннем мог быть человек, оказавшись наедине со стихией, как бы случайно, но выделял в рассказе главное... хорошо, умно говорил и с удивительным знанием дела. Я люблю его как поэта, считаю самым большим поэтом и самым умным редактором...»

С Симоновым Константином Михайловичем Витя, к сожалению, познакомился, когда он был уже очень тяжело болен и все-таки при этом ознакомился с рукописью «Зрячий посох», где большое место занимает его бывший и уже ушедший из жизни друг Александр Николаевич Макаров. И разговор был непродолжителен, опять же из-за болезни Константина Михайловича.

Встреча со вторым крупным редактором, Федором Ивановичем Панферовым, возглавлявшим журнал «Октябрь», проходила

уже несколько по-иному. Когда, говорит, я вошел в кабинет, он сидел за столом и вставлял в мундштук сигарету. Поздоровался и спрашивает, чего я в Москве делаю? Учусь, говорю, на ВЛК. А он: «Ну и зря. Я тоже учился, но через три месяца меня выгнали. И правильно сделали. Я за это время «Бруски» написал». А в разговоре сказал: «Ты нам давай добрый рассказ, плохие у нас свои пишут...» Разговаривали минут пятнадцать и все время перемешались: то о литературе, то о людях, то о чем-то совсем другом.

Третий крупный редактор на моем пути был редактор журнала «Молодая гвардия» Василий Дмитриевич Федоров, замечательный поэт. С ним были не очень близко, но знакомы, встречались не раз и не два, и в компаниях, и на каких-то заседаниях. Но когда я пришел к нему как к редактору журнала, его тон, его высокомерие, какая-то недовольность или усталость от всяких этих авторов привели меня в уныние, даже сам его вид. И уходил из кабинета с грустным чувством: «Вот что может сделать с нормальным хорошим человеком и поэтом власть, занимаемый пост и вообще должность...»

После обеда ходили в лес. В лесу прелестно, под ногами хрустит снежок, ярко сияет солнце и спит глаза. Будто весной.

Однажды завтракали и слушали по радио передачу о Лермонтове. Витя слушал, слушал, а потом сказал, что литературоведы, влюбленные в своих поэтов, так о них говорят, будто сами стихи читают: проникновенно, возвышенно, с волнением. Нам, говорит, на Высших литературных курсах профессор Архипов читал Лермонтова, Некрасова и Тургенева. Тургенева он, правда, разносил, так звонко и очень убедительно его «рассказывал». И продолжал: вообще, студенты литинститута за пять лет обучения там могли бы получить прекрасное эстетическое образование. К сожалению, за малым исключением, они богемничают, фрондируют и после выходят теми же невеждами, только более развязными...

Когда приехали в город, Виктор Петрович зашел в Союз писателей, там поддатый Лева Давыдович сказал: «Витя, город наш деградирует день ото дня. Вот ремонтируют улицу Ленина, сносят все, что было лицом губернского города; ни одного деревца не оставили — все под корень. Зелень, дома, памятники старины, парк, заложенный в память о погибших воинах...»

Витя уже написал обо всем этом в очерке «Осенние раздумья» в журнал «Смена». Дочитав «Восточный поход Муссолини», сожалел, что не прочитал это перед написанием «Пастушки», — кое-что добавил бы: в памяти возникло. А может, и не надо — там и так достаточно мрачных мест. Спустя время говорил, что пока не может решить: от первого или от третьего лица писать роман. Композиционно-то все обдуманно, все слож-

лось, можно садиться писать. А рассказ о Мите Сазонове, которого расстреляли (показательная казнь) свои же, уж после войны... писать не буду. Вот он уж покойный, но никто из оставшихся в живых не помянет его добрым словом — такой был злой, трусливый и мерзкий человек.

Надумали покидать Быковку. Накануне Виктор Петрович вчерне закончил рассказ «Ночь космонавта» — задумал-то как новеллу, но получился большой серьезный рассказ. Работы над ним много — переписываться и перепечатываться рассказ будет не раз. Прочитал, и пошли в лес — прощаться с природой.

Пришли на берег. Переправа уже не работает. Решили идти на Алебастровую — не шли, а карабкались по скалам, цепляясь за обледенелые чахлые кустики. Однако, хоть и натерпелись страху, дошли, и нам повезло: минут через пять-десять подошла электричка. Чай во фляге застыл, Витя грел его то за пазухой, то на обогревательной трубе. Поели немного. На остановке в вагон вошли военные и среди них один — Лермонтов! Ни дать, ни взять... Опять заговорили о поэте, о книге Ивановой «Друзья истинные и мнимые»...

В дороге, когда карабкались по обледенелым крутым скалам, вспотели, в электричке замерзли. Говорю, что по дороге: надо бы купить вина... Потом Витя спросил, чего я видела во сне? Говорю: «Скалы» — и стала рассказывать, как я его умоляла: «Витенька, миленький! Давай карабкаться вверх...»

Когда не стало среди нас Коли Рубцова, мы все были в горькой растерянности и только тогда с полной остротой и болью поняли, как он нас всех объединял и как всем нам стало без него плохо. Необъяснимую вину, тяжесть в душе и сердце переживали все вологодские писатели после кончины Николая Рубцова. Когда встречались — хоть в Союзе писателей или у кого из нас, — разговоры вольно или невольно сводились к горю, даже началось было, когда один вдруг недобро обвинит другого, что ты с ним больше и чаще пил, а беду отвести не смог, не захотел...

И стали помаленьку-потихоньку разъезжаться кто куда. Василий Белов уехал к себе в Тимонику, Коротаев — тоже в свою деревню, Боря Чулков поехал в Москву — вроде в одном издательстве ему предложили перевод книги, Саша Романов отправился в родную деревню Воробьево, сказал, что попытается работать, если сможет.

Мы собрались и поехали на Урал, в Пермь и в Быковку. Витя на день остался в городе — сделать кой-какие дела да повидаться, а мы с племянником Толей сели в электричку, доехали до Новых Лядов, там пересели на автобус, чтоб добраться до старого поселка, который почти целиком ушел на дно руко-

творного моря. Пешочком, по торной дороге перешли море, там, полем, через лог, и вдали уже показались дома быковские, сердце удивилось приятно, прибавили шагу и быстро дошли до своей избушки. Толя наносил дров, я растопила железную печку, и сразу тепло разлилось по избе, мягкое, долгожданное, привычное. Толя носил снег и топил его — на чай, на похлебку, на всякие нужды. А снег белый-белый — глаза слепит...

Я разбираю рюкзаки, он готовится топить баню. И когда напились чаю, он истопил баню и отправился на рыбалку, а я стала готовить постели — нам с Витей на раскладушках, племянник облюбовал полати... Включила «Спидолу», слушаю музыку, думаю, вот-вот Витя придет. Мария Федоровна — соседка, увидев дымок в трубе, принесла ведро картошки, сколько-то луковиц, огурцов соленных да бидон молока. Посидела маленько и заторопилась домой, сказала, после опять придет.

Над избой Гриши — пастуха — полная, круглая луна запала в ввалившуюся крышу, как в ложе, и в избе сделалось так светло, хоть огонь гаси, а снег на улице засинел...

Слышу торопливые, легкие Толины шаги по ступенькам в сенках. Зашел в дом, румяный, глаза блестят, рот в улыбке до ушей. Прокатился катом до дверей в кухню и сует мне руки к носу. Чем пахнут? — спрашивает. Я понюхала одну, другую и говорю, что вроде ольхой.

— Ну-ну, тетя Маня! Ну, понюхайте еще! Харюзками пахнут мои руки! Харюзками! Такую ямку нашел!.. А они не ожидали... Вы знаете, такая красотища кругом! Вам только выйти, полюбоваться некогда...

— Ну, раз такое дело! Раз харюзки! Значит, будет уха! — и начала чистить картошку, а Толю еще раз похвалила и сказала, что б он пока вымылся в бане, потом я, а там и дядя Витя появится...

Толик пришел из бани распаренный, довольный, сказал, что воды и нагрел много, и холодной натаскал — всем хватит. И тогда мы подменили друг друга: он будет доваривать уху — она уж почти готова. А я пойду в баню. Тоже намылась, как праздник пережила, чуть полежала и взялась накрывать на стол. Стала вспоминать, как Виктор Петрович первую уху из харюзков варил в Быковке. Сварили-то в огороде, на печи, но комар заедал, и ужинать решили в избе. Толя изображал, как дядя Витя нес ту кастрюлю с ароматной ухой — в потемках же, весь ориентиру — это запах ухи! Толя идет впереди, как бы дорогу показывает, за ним дядя Витя, а мы гуськом следом и одно твердим: не запнись, не пролей, не упади, осторожно, не обварись, и так бы, наверное, до самого стола продолжали бы давать ему советы, но он как выразился со смаком раз-другой — тут уж все смолкли, все успокоились...

Вспоминали, как гурьбой на рыбалку ходили. Как гости, наезжавшие к нам в деревню, угощались той изумительной ухой и все с трудом верили, что есть же еще такие благословенные места и такая изумительная рыбка!

Вдруг стук в раму, а потом и в дверь.

— Дядя Витя приехал! — ликующим голосом воскликнул Толя и побежал отпирать дверь.

В избу вошел Витя! Такой свежий, хороший, полушубок нараспашку, шапка сдвинута на затылок, глаза блестят!..

— Господи! Как я хорошо дошел! Нигде ни души, снег под валенками поскрипывает, луна вон какая — у Гришки аж крышу продавила! — Шапку положил на матицу, полушубок снял и только стал его вешать, так без движения и замер.

— Коля ты, Коля! Что же ты наделал, когда такая красота кругом! Ах ты, Коля... бедный Коля... — И опять: — Хорошо-то до чего, батюшки!..

Мы переждали, пока Витя отойдет от нахлынувших горестных дум, помолчали еще какое-то время, пока Витя спохватился, заслышав запах ухи.

— У вас и уха уже готова?! — удивился он.

— И баня! — сообщил не без радости Толя.

Решили, что Витя тоже сходит в баню, намоется, а потом, не торопясь, в удовольствие поужинаем.

Витя отдохнул после бани совсем недолго, минут десять, и все сели ужинать. Помянули Колю, затем выпили за здоровье Бориса Никандровича, что сам, наверное, того не ведая, подарил нам такое счастье — нашел для нас эту деревню, эту избушку... Засиделись за столом, и Толя от чая отказался, а мы и за чаем вели разговоры разные. Витя рассказал, кого повидал в городе, с кем встретился, что в издательстве долго проговорили, хватился, а времени-то уж о-го-го, распрощался и ходу, с Перми 1-й на электричке, от Новых Лядов попутную схватил — все получилось лучшим образом, даже не думал, что так быстро доберусь. А когда показали быковские огоньки — сердце екнуло радостно, и я надбавил ходу, хотя и торопиться в такую благодатную зимнюю пору вроде грех, но катанки все скрип-скрип — будто подгоняют...

Толя быстро утомился на полатах — после рыбалки, после бани да после такого ужина... Пусть спит, пока спится, пока молодой да здоровый, пока ни заботы, ни печали. А Витя, определившись на своей раскладушке, пододвинул лампу, начал читать Колины стихи — лежал на столе сборник «Душа хранит». Сначала читал вслух. Дошел до последних стихов и говорит:

— Эти стихи я у него очень мало знаю. А ведь читал и прежде. Видимо, теперь они обрели совсем иной смысл, особый. Прекрасные стихи.

Проснулись поздно, пока позавтракали, еще поразговаривали, и Толя стал собираться в город, пока доберется, пока то да се, а завтра рабочий день. Пошли его провожать. Погода стояла зимняя, но мягкая, когда с улицы не ушел бы, и Витя сказал, что, однако, он плонет когда-то на все свои дела и обязательства и будет так вот ходить-гулять, чистым воздухом дышать и думать о чем-нибудь хорошем: про хоккей, про рыбалку, конечно, и «за литературу» — куда от нее денешься? И статьи пока писать не будет, хотя и обещал. Порасспрашивал Толю, где он вчера исхитрился тех харюзков изловить? Много ли наледи выступило, какие ямки затянуло льдом, и можно ли без пешни, налегке?

А Толя слушал дядю, покачивал головой, мол, ладно, ладно, издевайтесь, что у меня времени нет, но я еще, пока вы здесь, постараюсь выбраться и обловить вас, раз на то пошло.

Снова заговорили об Андрюше — нашем младшем сыне, которому в марте сравнялось 18 лет, а в первых числах мая призывали в армию... Андрея сразу отправили в Германию, а в июне — в Чехословакию, сначала как бы на маневры, а потом... Что уж ему довелось там повидать, пережить и испытать — и представить трудно. Нет, наверное, чувства горше, тяжелее, чем родительское бессилие...

Мы ничем не можем ему помочь или что-то изменить. Неужели мало того, что мы оба были на войне, перестрадали столько и оставили там свою молодость. Даже этим не могли огордить своего сына, такого хорошего парня, из которого вышел бы, уверена, хороший человек. А он вот даже в мирное время угодил на войну. Когда в день проводин остались своей семьей, ели на кухне пельмени, Андрей выпил только одну рюмку водки, сказал, что в военкомате не велели. Витя сказал сыну, мол, можно было бы, раз уж такое дело, мы бы с матерью взяли и подменили тебя и оттрубили бы в армии по годочку, а ты бы учился в университете. Нам-то университетов заканчивать не довелось... Да только невозможно все это...

И Ирину жалко. Жаль очень, что она так безрассудно и безжалостно распорядилась своей молодостью и вот теперь страдает и сплетни выслушивает, так как нечем возразить. И ей помочь вот тоже ничем не можем... Как горько все это переживать...

Дела в литературе идут хорошо — нынче вышли четыре книжки: «Кража» — в Москве; «Ясным ли днем» — в Москве; «Конь с розовой гривой» — в Воронеже и «Последний поклон» — в Перми. И в «Советском писателе» скоро должен выйти сборник «Синие сумерки». И в доме достаток. В самую бы пору передохнуть, подлечиться, а тут такие тревоги да переживания.

Потом Витя опять заговорил о повести «Пастух и пастушка», над которой работает вот уж более двух лет, а конца и не

видно. Ясно пока только одно, говорит он, в таком виде, в каком она есть, ее никто печатать не станет. Трудно работается. Чувствую, говорит, как не хватает мне большой внутренней культуры, чтобы делать философские обобщения, убедительно раскрыть сложный внутренний мир героя повести — ведь не случайно же так долго «вертелось» название повести «Такое легкое ранение, а он умер...» А я ведь постоянно, изо дня в день стараюсь наполнять себя знаниями, много читаю критических статей, слежу за периодикой, стараюсь сам во многом разобраться, думаю, мыслю, ищу — и все думаю, думаю...

Вот задумал роман, большой, серьезный, многоплановый. Многие в голове уже сложилось, нужно посидеть в архиве, почитать документы, перечитать много литературы (серьезной). Вот с Володей Орловым — профессор-философ, наш сосед по площадке — поговорить бы надо, но поговорить «не заданно», не академично, а по душам, откровенно.

Ты и не представляешь, как жаль было мне расстаться с «Последним поклоном» — в этой книге ничего не надо было выдумывать, обобщать. Писалась книга с удовольствием и радостью. Больше к этой теме я никогда не вернусь... Дома снова зашел разговор о повести «Пастух и пастушка». Даже первое прочтение вызвало впечатление ошеломляющее. Замечания были: сократить вторую часть, рассказ Люси о себе должен быть убедительней, сны — из двух оставить один и сократить письмо матери.

Маршал Конев в своих мемуарах пишет о том, что хотел бы забыть, например, когда по его приказу была уничтожена немецкая группировка — там было столько трупов, что невозможно было проехать на машине, и он тогда взял розвальни, обыкновенные, деревенские, и на них поехал, и что переживал... Если все это написать по-настоящему (в картине боя и смерти немецкого генерала)...

От имени главного редактора киностудии имени Довженко сообщили, что собираются все-таки экранизировать «Пастушку». Оказалось, что повесть прочитал Брежнев, повесть ему понравилась, надо делать фильм, сказал он. Сказал — и решил. Это был как раз тот период, когда ему стали докладывать, что, мол, в журналах ничего интересного, снимать тем более нечего и показали «Пастушку»... А тут еще посмотрели передачу о битве на Волге. «Прошло двадцать лет, — сказал Витя, — и все эти годы я смотрю, слушаю, и ума не хватает постигнуть, как можно обо всем этом, что происходило и происходит, говорить простыми словами?.. Один выступающий сказал: «И вот небольшая кучка сталинградцев отстаивала Волгоград!» — парадокс, какого не придумаешь! А этот «Волгоград» — город, известный во всем мире! Какая же это чудовищная известность!..»

— Вот я лежу, гриппую. Лежу в чистой постели, в тепле, окружен заботой и лаской — и то трудно. А как бывало на фронте: голова разламывается, кости ломит, температура, а надо воевать, работать, не спать, часто в голоде и холоде. Ладно, если ребята посочувствуют, подменят, в землянку или под накат отправят, а там холодно, сыро, одиноко. И только боль во всем теле да лихорадка. И так себя жалко станет... А когда у кого-нибудь зубы болели... Лекарств нет, врача нет. Единственное лекарство — курево. И он, бедный, накурится, очумеет, а боль пуще того. Какой ужас! Жизнь сильнее фантазии... А как об этом написать? Об этом никто не напишет...

Пришло письмо от В. Лакшина — повесть «Пастух и пастушка» ему понравились, но, если будет публиковаться, — «купоры неизбежны», но что почти вся редколлегия «Нового мира» — за! Виктор Петрович заходил с письмом ко мне в спальню.

Я лежу, читаю (на улице дождь как из ведра) повесть Е. Носова «Красное вино победы» — урелась вся.

— Ты, никак, ревешь? — слышу, подошел Витя. — Ох-хо-хо! А я сижу и не знаю, что старушонка-то моя урелась вся... — обнимает, гладит, шутит, а потом, уже серьезно: — А я как раз о нем пишу в «Наш современник» — пришло письмо, дискусию по рассказу начинают. Просят выступить.

А вечером пришел ко мне на кухню и говорит: «Сначала все писалось как надо а потом понесло, понесло...» — и прочитал...

Дни идут, один за одним, и ни один не споткнется, не остановится... Е. Дорош написал в письме, что уезжает в Болгарию и, к сожалению, не сможет присутствовать в редакции «Нового мира» на обсуждении повести «Пастух и пастушка».

Иринка принесла из библиотеки книгу с картами войны. Витя листал, рассматривал карты, нашел «свой» места.

— Вот Ржишев — здесь меня ранило в глаз. Вот поле под Тарашей. Смотри, вот где были вечером, а утром — вот и... вступили в бой под Христиновской. Тараша — очень красиво. С этого места буду писать это страшное побоище...

Прочитал письмо Лакшина и говорит, что, когда ездил в Москву, в «Новый мир», — разговор был серьезный. И вообще впечатление самое доброе. Живут. Работают. Александр Трифонович здоров.

Повесть всем понравилась. Все за то, чтобы печатать, и все озабочены одним — как напечатать?! Единодушно признали, что сцена баяниста написана блистательно. Наибольшие затруднения с третьей частью. Если удастся описательность подкрепить или где-то заменить зрительностью, когда все те же

мысли будут донесены в несколько иной форме, тогда исчезнет и некоторая натуралистичность, кою неподготовленный читатель может истолковать по-разному.

Витя рассказал мне, что кое-что он попытается сделать сам, а остальное с редактором. Редактора назначили. Предложили оформить отношения, заключили договор, выписали 75 процентов. Я, говоря, намекнул, что по традиции полагается распить хотя бы коньячку, но и Лакшин, и Кондратович враз заговорили, что в былые добрые времена так бы и было, но сейчас это неуместно. Побывал за эти дни в Москве и у бывшего главрежа Пермского драмтеатра И. Бобылева, были оба друг другу рады, и Витя оставил ему почитать свою пьесу. Был в управлении театров, сказал, что радиопостановка по «Последнему поклону» сделана слабо, плохо, а они в ответ — «Гениально, талантливо».

Днем я ходила встречать режиссера Владимира Баранова. После обеда они гуляли, разговаривали, Витя вернулся с простуженным горлом, а Володя отправился купить коньяку, но ходил долго. После ужина Витя читал повесть «Пастух и пастушка». Я, говорит, очень люблю читать ее вслух, всем читаю сам. Дочитал до третьей части, где кончил правку. Огорчается, что так мало удастся сокращать, а больше прописывать...

Володя слушал, а потом сказал, что это готовый сценарий — бери и снимай. И начал рассказывать о фильме «Пир хищников», где немец в конце вызывает уже не неприязнь, а симпатию, становится героем.

Пошел разговор о немцах как о нации. Витя сказал, что совсем еще недавно он их просто ненавидел, но со временем отношение к ним несколько изменилось, в чем-то он их начал понимать, не оправдывать, а понимать. Все это чрезвычайно сложно. И вот с повестью сложно. Вещь же выношена была, оформилась в голове, а когда начал ее писать и написал — все в ней вроде предельно, слово на вес золота. А вот теперь сокращать... Как все это будет?

ПИСЬМО Бориса Никандровича Назаровского — Виктору Петровичу Астафьеву, 26 января 1972 г.

«Кругом Астафьев. Включишь телевизор — Астафьев, включишь радио — Астафьев. Включать уют не пробовал, но все возможно в наш век технического прогресса. Вообще-то, я стараюсь реже включать современные каналы массовой информации, но тут приболел немного, сидел (и сижу) дома, и нельзя же все время читать и писать... Сначала я смотрел передачу (нашу, пермскую) о выставке художников Урала, Сибири и Дальне-

го Востока в Москве. Ее вела Агата Григорьевна Бугрина. Были вмонтированы записи выступлений на заключительном обсуждении выставки. И один из искусствоведов, а затем и художник московский говорили о портретах писателя Виктора Астафьева как об одной из лучших в этом жанре работ за все последние годы. И хотя портрета на выставке не было (он путешествовал по границам), Агата Григорьевна вмонтировала его в передачу. Отличный портрет. Выключил телевизор. Неожиданно позвонила Светлана, племянница: «Смотрите ли? Там Астафьев...» Включил, действительно, Виктор Петрович сидит — откинувшись в креслах и очень гладко говорит. А на следующий день по местному радио передача: «С чего начинается Родина». Разговор о книге Виктора Астафьева «Последний поклон». Немного непонятная передача. Был не разговор, а рассказ, чей — не сказали... Все это и побуждает меня написать вам. Человек я старый и так как привык всегда использовать в личных (хотя и не корыстных) целях всякое свое положение, то и использую сейчас это единственное положение старого человека, которое позволяет поворачать даже на знаменитости.

Виктор Петрович! Вы рискуете перестать походить на свой портрет. Не для этого вас писал Женя Широков. Портрет вас связывает и обязывает. Извольте походить на себя!

Вам нельзя сниматься откинувшись: видно брюшко. Вам нельзя позволять снимать себя снизу, с подбородка: лицо получается припухлое. Вы куда лучше (но не идеально) выглядите с наклоненной вперед головой (когда читали). Ближе к портрету.

Но возникает и общее сомнение: полезно ли вам вологодское масло? Не полезнее ли вам быковская картошка? Не надо ли вам посоветоваться с врачами, установить для себя режим питания и жизни? Подходят годы, когда надо, безусловно надо, заботиться о себе и держать себя в форме. Вам нельзя ни умереть, ни зажить. От вас человечество должно получить многое. Не следует расходовать свое сердце на обслуживание разжиревшего организма: на этом сердце быстро перетруждается, а оно нужно для другого. Знаю все ваши возражения, знаю, что вы можете раздраженно сказать: что он мешает не в свое дело! И все же пишу. Прошлое — сделанное — связывает и обязывает человека, не только и не сколько, конечно, портрет, на котором видны ваши бойцовские качества, в частности, умение взвесить свои силы. Обязывает «Пастух и пастушка».

Об этой повести мало пишут. Возможно, и замалчивают. Глубоко уверен, что она станет куда более известной в будущем и останется как художественное свидетельство нашего века в памяти народа. О «Последнем поклоне» справедливо говорили, что произошел переход от автобиографических рас-

сказов к большому, философского порядка, обобщению (об этом, последнем, не глубоко говорили). Еще большая сила художественного обобщения в энергической мысли, глубоко устремленной к человеку, в «Пастухе и пастушке». И какой-то круг людей, может быть, не столь широкий, но важный для вас, художника, ждет от вас многого, ждет большего. Почему-то я уверен, что вы не исчерпали своих возможностей роста, хотя жду «Затесей», жду еще более широких обобщений.

Правда, я на месте вашего Союза писателей поступал бы с такими людьми, как вы, — людьми огаренными от природы и показавшими, что они способны использовать свое дарование по-иному. Я бы прикреплял к каждому из вас двух-трех настоящих профессоров, обеспечивал бы вам на три-четыре года целковых по 500 из Литфонда (в месяц) и побуждал бы учиться. Античную культуру, историю своего народа, начиная с первобытных времен, историю философской, художественной и политической мысли надо постигнуть всем таким людям. Вот прикрепить бы вас к Арсению Владимировичу Гулыге, о книгах которого я вам говорил, кажется, чтобы он давал вам задание, что прочесть, и встречался бы с вами раз в четыре-пять месяцев, чтобы просто поговорить.

Общение с людьми высокой духовной культуры вам, человеку, вполне сложившемуся, никак не повредит, не порвет связи с землей, свежести ощущения природы не нарушит. Оно обогатит, разовьет художнический глаз. Способности этого глаза очень велики. Для всего этого надо держать себя в форме, быть к себе требовательным во всем. Ничего не сделаешь, талант — жестокий дар... Сегодня ночью я решил высказать вам все это. Вчера, 25 января, было семь лет со дня смерти Ирины. Обычно, я заранее напоминаю Сергею и зову его. А тут забыл. Он пришел сам, вспомнил мать и приемного отца — молодец! — и притащил бутылку хорошего коньяку. Пришла и Светлана. Вот мы и выпили, а ночью я, допивая остатки, вспоминал и думал. Ужасное дело смерть. Об этом ведь и «Пастух и пастушка». Мучительно и трудно билось, не поддаваясь ей, сердце Ирины. Потом врач говорила мне, что при ее пороке сердца — чудо, что она дожила и до 50 лет. А ведь сейчас, семь лет спустя, уже умеют с такими заболеваниями бороться, уже могли бы ее и отстоять. Смерти не надо поддаваться. Никакой. Против нее борьба. И только в движении вперед победа.

Простите, Мария Семеновна и Виктор Петрович, если я что не так написал. Отнесите это на счет старости и коньяка (хотя я давно уже вполне протрезвел и хорошо отоспался).

Не забывайте Перми и Быковки.
Всего вам доброго».

Меня кто-то громко и, казалось, нетерпеливо окликнул дважды. Я сначала, естественно, не приняла это на свой счет, но когда почувствовала, что меня кто-то догоняет, зовет, просит остановиться, — оглянулась и увидела спешившую ко мне Валю. Я редко с нею общалась, знала, что она жена одного из вологодских писателей, что у нее больные ноги, а работала она в киоске при райпотребсоюзе — торговала книгами или была товароведом, одним словом, виделась с нею, кажется, только там. И потому очень встревожилась и удивилась, что она так спешит.

— Валечка! Что-то случилось? — участливо обратилась я к ней.

— Да нет... Да, пожалуй, случилось, — перевела дух от скорой ходьбы и стала говорить о том, что ее Ваня едет в Индию, что едет целая вологодская группа туристов, и вот Ваня ее тоже, что делает разные прививки, оформляет документы, ходит на беседы...

Я сказала, что это замечательно. Что посмотрит страну, о которой я мечтала с детства, как ни о какой другой. Я мечтала об Индии. А все началось, наверное, с мыла туалетного в красивой обертке, на которой был нарисован очень красивый человек — принц или король, в белой чалме, на которой надо лбом переливалась лучами драгоценная звезда. Он в белых дорогих одеждах, у ног лежит лев, а окружают дивные пальмы. Мыло то нашла я на пожарище, и, когда прибежала с находкой домой, мама осмотрела чуть припачкавшуюся обертку, понюхала, на принца полюбовалась и мыло убрала в сундук, чтобы давать нам им умываться по праздникам, а обертку отдала мне. Я ее прикрепила над кроватью и перед сном подолгу ее рассматривала, восхищалась красавцем, дивилась раскидистым пальмам, льву, покорно охраняющему своего владыку, и все больше убеждалась, что это — Индия!.. И после, когда стала учиться в школе, когда по географии стали проходить страны мира, мне хотелось тянуть руку, чтоб сказать учительнице, что она не так рассказывает, что вот я знаю Индию! Даже показать могу. Конечно, до такой смелости я дойти не решалась, однако мысленно оставалась при своем мнении и только.

И вдруг!.. Вологодская группа едет в Индию, и никто, наверное, из тех, кто едет, даже и не думал о ней ранее, во всяком случае, не мечтал о ней, как я...

Мы еще недолго поговорили с Валей. Она излила мне свою тревожную радость и немного успокоилась, как мне показалось. А я, попрощавшись с нею, дошла до первой телефонной будки, а в ту пору, как это ни странно, в телефонных будках на веревочке висели абонентные телефонные справочники. Вошла в будку, поставила сумку, нашла, чтоб наверняка, номер телефона наше-

го знакомого в обкоме партии и позвонила. Он оказался на месте, быстро отозвался, и, когда я сбивчиво спросила его, правда ли, что воложане едут в Индию, он без раздумий ответил, да, попросил, чтоб я не клала трубку, по другому телефону, не выходя из кабинета, спросил, укомплектована ли группа для поездки в Индию, и сказал, что есть еще два места, мол, оформляйтесь, и пожелал успеха, даже не спросив, хочу ли я тоже поехать.

Я заспешила домой, но чем ближе подходила, тем шаги делались медленнее: шутка ли — мечтала всю жизнь, а тут такая оказалась возможность, но вдруг дома что — или Виктор Петрович не очень здоров, или какие иные причины возникнут... На ниточке, на тончайшей, висела моя мечта. Поднимаясь на свой третий этаж, я уж думала, что и обед сварю вкусный, и всем постараюсь угодить, и вообще... только как сказать. А вдруг моя надежда, уже тонюсенькая, как волосок, не выдержит. Я ж тогда умру от горя...

Пришла, разделась, унесла сумку в кухню — и в кабинет к Виктору Петровичу. Села на диван, прикусила язык, а он сидит, газету почитывает. Заметил, что я сижу и вроде чего-то жду, спросил:

— Устала?

— Да нет.

— Надо чего?

— Да нет.

— Ну и чего тогда?..

— Ты знаешь, вологодская группа туристами в Индию едет.

— Во дают! — и снова уткнулся в газету, но тут уж ненадолго. — Тебе тоже охота?

Я выразительно пожала плечами.

— Сколько путевка-то стоит?

— Четыреста двадцать — Индия и Шри Ланка.

Виктор Петрович выдвинул слегка ящик письменного стола, достал из пачки новенькие четыре сторублевые — он только что «лауреахнул», как в шутку сказали ребята, а денежки лауреатам выдают самые новенькие, не бывшие в употреблении. Затем открыл бумажник, достал две десятки, пододвинул на край стола, чтоб взяла, добавил, мол, пользуйся моей простотой! А за ужином, когда все сидели за столом, громко сообщил, мол, мать-то у нас в Индию собралась!..

Так я побывала в Индии, особенно пережила восторг от перелета — мы же летели навстречу дню, навстречу солнцу, восьмого января. Заря возникла и стала разрастаться — яркая, стремительная, вобравшая в себя все цвета радуги! Но, когда объявили, что самолет пошел на посадку, пережила я некоторое недоумение: внизу, вопреки моим ожиданиям, что сейчас нас об-

ступят пышные, аромат излучающие пальмы и диковинные растения, мы увидели желто-песчаную в неглубоких оврагах и щелях землю, лишь реденько виднелись какие-то, словно наши северные, карликовые березки, пальмы, полуживые, искривленные, и редкая низкая растительность. Я подумала, что это еще не Индия, не Дели, это вынужденная посадка, мало ли, может, занята наша посадочная полоса или еще что. Но нет, мы приземлились в Новом Дели и скоро увидели, как обступившие, будто муравьи, облепили трап иссушенные на солнце и мерзнувшие в такую погоду — в Дели было двадцать один градус выше нуля, для них это зима, — с замотанными шарфами или полотенцами шеями, смуглые мужчины, больше смахивающие на подростков.

А в самом здании аэропорта — настоящий табор: сидят и лежат на полу, всюду дети и взрослые, иные безмолвные, дремлющие в ранний час, иные разговаривающие, убаюкивающие, успокаивающие детей, которых было очень много. Мы приехали без переводчика — она заболела, и из Москвы мы двинулись, заполнив декларации, под руководством старосты. В Дели разыскивала вологодскую группу Анна Никифоровна — москвичка, проживающая в Индии с мужем, время от времени она «брала» группы. Однако наш староста, сильно проинструктированный в обкоме, ее и близко к нам, к нашей группе, не подпускал, пока, наконец, не выслушал ее и тогда возмутился — где она столько времени пропадала, а люди ждут.

Были и другие забавные и грустные приключения и события, но Анна Никифоровна, коль являлась женой торгового полпреда, была в курсе «житейских» дел в стране, рассказывала много и интересно. Руководительница волгоградской группы, которая еще в Домодедово не желала дать нам бланки деклараций, мол, вы не наши! — это еще в Москве! — тут постоянно старалась приобщить и свою группу к нашей, чтоб послушали. В Бомбее в отделе наши номера были уже кому-то отданы, и нам предлагали десятиместные. Анна Никифоровна собрала нас, спросила, согласны ли подождать, пока все выяснится, а выяснится обязательно, позвонила куда-то по телефону, распорядилась, чтоб портье дал комнату боям, чтоб принесли стулья, в холле звучала приглушенная музыка, и скоро одни начали медленно переступать-танцевать танго или что-то подходящее под музыку, двое мужчин, врач и писатель, сели за большой стол, пустующий в раннее время, а вообще занимаемый главным администратором, взяли чистый бланк с грифом отеля и принялись сочинять письмо: «Досточтимая, глубокоуважаемая, прекраснейшая из женщин, госпожа Индира Ганди! Мы приехали в Вашу страну подивиться на райские кущи и великолепные дворцы. Мы не претендуем на

Тадж Махал, но в Вашей стране так много пустующих дворцов, а для нас не оказалось свободных мест...» и т.д. И подписались. И принесли, чтоб прочитать вслух всем и Анне Никифоровне тоже. Она рукой стала как бы сзывать всех поближе, но тут взбунтовалась волгоградская руководительница: «Мы никаких писем подписывать не будем!» — и с ходу властно отстранила «своих». Когда читали письмо, в холле поднялся такой хохот, что бои забегали с пирамидами плетеных кресел, стаскивая их отовсюду, а портье от изумления поправил очки: мол, они же должны выражать недовольство, а они смеются... Что за туристы! — и повелительным жестом подозвал к себе двух боев, чтоб подали охлажденный напиток, но мы, глядя на свою руководительницу, отказавшуюся принять освежающий напиток, поблагодарила лишь, мы все последовали ее примеру. И вдруг отовсюду, со второго этажа, с третьего, из коридоров бои приносили и со звяком клали ключи перед портье на поднос, и очень скоро нашлись двухместные номера, уже оплаченные, заказанные, да вот... Раздав ключи, Анна Никифоровна всем пожелала спокойной ночи и сказала, что завтрак будет на час позже.

Много чудес увидела я в Индии и на Цейлоне: подвесные сады, цветочные оранжереи, в которых не жились сказочных форм и ароматов неземные цветы, огромные купальницы слонов и необытный по разнообразию и «населению» зоопарк. Видела жителей бедных селений, когда мужчины в набедренных повязках, женщины — не разобрать, сестренка или мать — такие взрослые по жизненному опыту и школьники по возрасту, плохо одеты, видела девушек-красавиц в тончайших разноцветных сафари — студенток на острове Элефанта, и много прочего, я уж не говорю о великолепном дворце Тадж-Махал, о красивых городах Мадрасе и Бомбее, о прощальном вечере Махабелипураме. Наша компания: врач, писатель, мы с приятельницей Зинаидой Петровной, вологжанкой, с которой за время путешествия очень сдружились, собрались в бунгало у Анны Никифоровны. Вместо стола широкая доска, столешница, закрепленная на потолке на толстых канатах, возле стен глинобитные скамьи-диваны, вокруг стола плетеные легкие кресла, а на столе подсоленные орехи, сухое вино и «Столичная», подаренная хозяйке дома нашими мужчинами. Мы подарили духи «Красная Москва» и пластинку с «Песнярами», фрукты, сигареты и что-то еще, над столом, тоже на канате, подвешен горшок с отверстиями, заклеенными разноцветными пленками... Необычно, волнительно и немного тоскливо, что такое «присутствие» мы видим в первый и последний раз! Анна Никифоровна, слушая «Песняров», плачет, тоскуя и думая о Москве, улыбается, угощает и рассказывает, чего не успела рассказать за проле-

тевшие две недели (в Индии мы были десять дней, четыре дня оставалось на Шри-Ланку) или чего — для узкого круга.

Фонарь-люстра над столом стал меркнуть, потому что наступил рассвет, наступила пора прощания...

Когда разместились в самолете, чтоб лететь в Москву — и домой, я сама себе сказала: Маня, ты счастливый человек!

Сказать-то себе о том, что я счастливый человек, сказала, хотя всегда, особенно после войны, навсегда запомнила, что печаль не любит оставлять радость в одиночестве, потому что почти всегда после веселой радости — пела и танцевала на празднике, смеялась ли от души, веселилась накануне, когда сбывалось радостное событие, поездка ли, о которой мечтала, — непременно настигнет горе, печаль, сердечные переживания, и я вроде бы уж и бояться стала того состояния, когда мне хорошо и радостно, — уж к добру ли?!

А тогда... Мне и ждать-то долго не пришлось, когда (чуть-чуть переиначу слово великого поэта) — судьбы свершился разговор: Виктор Петрович публично, на представительном писательском собрании сообщит-заявит, что он (не мы) уезжает в Сибирь навсегда...

О сыне Андрее я пока сказала самую малость: что родился в Чусовской железнодорожной больнице, рос не очень здоровым, спокойным и не по годам серьезным. Очень переживала, когда он болел, винила себя, что в начале беременности я чего только не предпринимала, чего над собой не делала, чтоб только избавиться от зародившейся во мне жизни. Нужда ведь до добра не доводит, вот я и старалась — страшно даже и произнести — убить жизнь дитя в себе. И муж нет-нет да и ударит словом-упреком, мол, за столько лет ума не нажила: куда в такое тяжелое время, при такой-то жизни еще плодить нищету. Но аборт был запрещен, в больницах блата нет никакого, где искать помощи? Расспрашивала женщин, даже и не близко знакомых, не посоветуют ли что. И мне советовали такое иногда, что впору заранее умереть, однако прислушивалась — время же идет. Я даже разведенную известку пила. Я даже водку с дрожжами пила. Дождалась, когда Витя и Иринка улеглись и уснули уж, вскипятила самовар, заранее наготовив пустых бутылок с пробками, постелила себе постель в кухне на полу, вышила ту чепуху вина с дрожжами, а это так противно, что и не передать, перекрестилась, что грех такой совершить надумала, легла, вытянулась и обложилась теми бутылками, как минометными снарядами! Лежу, жду действия. Ждала, ждала да и уснула. Утром проснулась — все бутылки мои еще тепленькие, раскатились, а

я здоровехонька, даже голова не болит! С той поры, с той ночи я решила, что пусть лучше снова останусь одна с ребенком, теперь уже с двумя, но буду делать и предпринимать все, что только от меня как от матери, вынашивающей плод во чреве своем, зависит: двигаться-то я и так двигаюсь предостаточно, буду стараться есть даже тогда, когда чувствую отвращение к еде, лишь бы это было полезно ребенку, и настанет срок, и я рожу его...

И когда наступил срок, и когда у меня родился ребенок, в сильных муках я, преодолевая слабость и усталость, рассмотрела, что у мальчика есть ручки, ножки, глазки, что он — нормальный ребенок, что я не успела ему навредить, тогда я глубоко и облегченно, как, наверное, никогда ни до того, ни после, вздохнула, попросила хлеба с солью, съела и уснула, крепко, первый раз за все то время, пока пыталась любыми средствами убить его в себе, и проспала до утра. Я не слышала, как меня переместили в палату, услышала, когда будили, чтоб покормила ребенка, а то скоро унесут обратно. Он хорошо ел, я с любовью и нежностью передавала ему вместе с молоком все лучшие соки жизни. И даже зарекалась, чтоб еще хоть раз, хоть когда-нибудь я соглашусь на подобное — нет и нет!..

Но потом было столько всего и всякого, когда не хватало моих сил и разума для сопротивления не брать греха на душу, не лишать жизни только что еще зародившегося дитя, я шла на это, переживала унижительное кощунство над собой и освобождалась от дитя. А потом не знала, как живым детям глядеть в глаза — этим дала жизнь, а тому почему-то нет. И так бывало не раз и не два, и после, когда я, опустошенная душой и телом, возвращалась домой, занималась воспитанием детей, работала, хлопотала по дому, и всегда страдала от душевной муки, если болел Андрей, всегда как проклятие несла в себе: «Это мой грех! Это моя вина...» Но когда мне в больнице отказали в этой, которой по счету, не знаю, операции, после, когда опять женская беда нависла надо мной — не могли же мы, молодые, усталые от войны и от нужды, отказать себе в единственном личном удовольствии! — я уже не обращалась в больницу: знала, коль сам Сталин своей волей и властью запретил аборт именно в то время, когда русская нация могла и должна была пополняться юными жителями земли русской, обновиться их звонкими голосами, когда и он должен был понимать, что «дети — цветы будущего», и вообще, дети — это будущее поколение. Я встретила приятельницу, с которой мы были давно знакомы и поделилась своим горем, вместо того чтобы поделиться радостью — это было бы так естественно! Она выслушала меня, погоревала, хотя при нормальной жизни порадовалась бы, и сообщила, что сама тоже недавно стала детоубийцей, и тоже не от радости, по-

обещала помочь. И не далее как вечером, стукнув в дверь, вызвала меня и сказала, чтоб я приготовила три сотни, чистую простыню, мыло, йод, платок и приходила бы к ним завтра днем, когда у них никого не бывает дома...

Я в ту ночь не сомкнула глаз, не плакала, только смотрела на спящих детей, ни сном, ни духом не ведающих о том, что завтра они, если мне не повезет, останутся сиротами... без вины виноватыми, на мужа смотрела, такого любимого и такого как бы уже отстраненно-далекого... Но утром виду не подала, проводила его на работу, я же из-за того, что частенько болел Андрюша, временно уволилась и, чтоб хоть как-то поддержать не достаток, но терпимую жизнь семьи, много вышивала в люди, выбирала время поудобней и бралась за красивое занятие, что из того, что не для себя, потом я и детям буду вышивать платья и рубашечки, и мужу, и себе платья, но это потом...

А тогда попросила соседку подомовничать — очень уж мне надо сходить в одно место, безотлагательно надо, оставила детям еду и одежонку и направилась с узелком по заветному адресу. Приятельница меня уже ждала, и не одна, но быстро вышла ко мне навстречу, спешно спровадила в комнатку дочери-школьницы, велела приготовиться и главное — она чуть помедлила и прямо мне сказала:

— Милая, ты извини, но я завяжу тебе глаза... Я-то тебе верю и знаю, что ты под страхом пытки никогда никому ничего не скажешь: кто? где? когда? — если даже, не дай Бог, не с первого раза все получится и ты, боясь за ребят, соберешься обратиться за помощью в больницу... Скольких уж акушеров судили, в основном их выдали те, которые валялись перед ними на коленях и умоляли помочь...

— Господи! Да мне хоть что... Только чтоб помогли.

Через два часа я была уже дома. Акушерка, которую я никогда не видела, сказала, что срок порядочный, что выкидыш произойти может не сразу, даже, может, и не завтра, но я думаю, надеюсь... выздоравливайте, — сказала и вышла из комнатки. Приятельница принесла мне сладкого горячего чаю, все завернула в газетку, кроме денег, проводила до крыльца, поцеловала и вернулась в дом.

Вечером я, как обычно, умыла ребят, ножки особенно, и уложила спать, поразговаривав с ними маленько. Муж тоже быстро уснул, а я ушла в кухню, притемнила свет, чтоб только мне было удобно, светло шить, и все прислушивалась к себе.

Ранним утром я освободилась...

Андрей еще школьником начал подбирать домашнюю библиотеку. И серию «Жизнь замечательных людей», которая у

нас имеется почти полностью. Ею тоже он занимался, но когда мы уехали сюда, в Сибирь, она стала редко и нерегулярно пополняться, потому что некому стало заниматься ею и следить за новинками. Школу Андрей закончил нормально, и они с Ириной, каждый по-своему, стали готовиться для поступления: Андрей в университет, Ирина в пединститут. Мы посоветовали Андрею подать заявление и документы на биофак — интересная, перспективная работа, может быть, и наука. Андрей помалкивал, не говорил ни да, ни нет. А когда пришел и сообщил, что подал документы, мы с отцом в один голос: «На биофак?» — «Нет, на исторический. Я же не говорил вам, что хорошо, на биофак. Я говорил — подумаю».

С первого раза Андрей в университет не поступил — как бы не хватило одного балла. На самом же деле некоторые из членов приемной комиссии пытались приобщиться к литературе, предлагали Виктору Петровичу прочитать их сочинения и, может быть, — намекали — посодействовать их продвижению к изданию.

Виктор Петрович, человек обязательный, прямой, рукописи прочитал не все, сказал, что для публикации они не готовы: иные — вторичные, особенно стихи, другие отношения к литературе не имеют вообще, это литературные пробы школьника...

В результате не хватило одного балла. Мы об этом узнали почти год спустя, когда Андрей уже отслужил положенное в армии. А происходило все так: сначала их три дня держали в загородке — на сборном пункте, под палящим солнцем, в тесноте, без питья и всяких иных удобств, необходимых человеку, на ночь отпускали домой, утром снова. На третий день Андрей ушел из дома раньше обычного, зашел в парикмахерскую и остригся под ноль, оттуда — на сборный пункт, и их строем повели на вокзал. Там суматоха: новобранцев выстраивали то в одном месте и проверяли наличие состава, то в другом, через переход. Провожающие в расстройстве и недоумении едва успевали угнаться «за своими», чтоб не растеряться в последний момент. Наконец была подана команда: «По вагонам!» — был подан пассажирский состав, и мы с отцом с облегчением перевели дух, решив, что хоть их-то не повезут в теплушках, а по-людски. Но лучше бы в теплушках... На нижних полках, кому удалось на них попасть, сидели плотно, превышая положенную норму в два раза; на вторых — по четыре-пять человек, и они ютились, пригнув головы, поджав ноги, чтоб не угодить ими в лица внизу сидящих; на верхних уж как кому удалось — оттуда торчали только опущенные до предела головы и, пока хватало сил и терпения, в таких позах ребята наблюдали за происходящим. В проходах между нижними полками мы мельком увидели Андрея, а потом только его кисть руки с чуть раскинутыми пальцами и по-

разились: какие, оказывается, у нашего Андрея крупные руки!

И все! Как в песне поется: «... и тронулся поезд, колеса застучали...» Уезжающие новобранцы все еще прощально махали руками, но уже утянув головы внутрь вагона. Разлука с сыном переполнила сердце и ум, и я слегла, а бедный Витя и меня спасает, и делами занимается. День Победы прошел в печали, хотя и принимали гостей. Через неделю уехали в деревню. Первую весть — краткое письмо — получили от Андрея с дороги: писал, что везут за границу, в сторону Германии... Затем уголок — письмо уже с номером полевой почты. Затем, когда приходили редкие письма от Андрея, отец мне говорил, мол, вроде у парня все нормально, но своим опытным чутьем старого солдата уже чувствовал, предполагал, знал, что Андрей в мирное время угодил на войну — в Чехословакию, — и горевал как бы уже скрытно от меня. Пишу ему часто, даже о пустяках, лишь бы ничего из письма не вычеркнули. Сообщаю адреса его знакомых ребят, с которыми собирались служить в одной части, но разве это от них зависело? Служили там, куда направили, куда определили, в какую часть, в какой род войск. Володя Брызгалов тоже был где-то в Германии, Фарид Зубаиров попал в Узбекистан, остальных не припомню.

Когда закончились чехословацкие события и советские воинские подразделения вернулись в свои прежние расположения, мой Витя мне сказал, что разговаривал в облисполкоме и пообещали, как только группа туристов из Вологды поедет в ГДР, тебя в нее включат. Жду. Надеюсь. Не очень верю. Однако пригласили в горисполком, в отдел комиссии по туризму, сказали, что я зачислена в группу, дали список: что нужно подготовить, какие и откуда справки, фотографии и инструкция, что можно и что нельзя — это имелось в виду, что можно брать с собой и что можно «там» говорить, потом было собеседование, и вскоре группа вологодских туристов двинула в эку невидаль — в Германию... У меня были две цели этой поездки: повидаться с Андреем и — если окажется возможным — побывать в Дрезденской галерее. Андрей служил в Карл-Маркс-штадте, но прямо на этот вопрос, как туда попасть, нам никто не отвечал, офицеры в комендатуре пожимали плечами, мол, вроде хозяйство Козлова или Ковалева. В краткой открытке уже из Москвы я сообщила Андрею, что в Дрездене будем такого-то числа — отель назвать не разрешили...

Когда уезжала из дома, Витя все наказывал, мол, никаких нам подарков, ничего, передашь Андрею часы, оставишь себе несколько марок и пфенигов: вымыть руки, посетить туалет, внести пай на покупку венков или купить цветы на могилы нашим погибшим соотечественникам.

Андрей в сопровождении старшего сержанта искали нас весь день и не нашли, решили еще навеститься в комендатуру и возвращаться в часть. Мне тоже, уже измученной, испереживавшейся, посоветовали ехать в комендатуру и там ждать, там даже комната для встречи есть, но откуда было мне об этом знать?! Хожу по этой комнате от окна к окну, отчаиваюсь и вдруг вижу: идут два солдатики к комендатуре, один похож на Андрея. Я выскочила из этой комнаты и, увидев Андрея, ринулась к нему навстречу по широченной каменной чистой лестнице... и как вцепилась в него — хочу верить и не могу, а он, слышу, хлопает меня по плечу: «Мама!.. мама!.. Это я, Андрей... мама...» Подошел дежурный офицер, довольно крепко взял меня за предплечье и Андрея тоже, сказал: «Не положено», — и проводил нас в ту комнатку.

Я рассматривала Андрея: слава Богу, живой! Платком стираю пыль с его лица и все смотрю, смотрю: мой и не мой — военная форма да еще в чужой стране — это такая преграда... Скоро в дверь постучали, вошел тот же дежурный офицер и сказал, что с минуты на минуту пойдет в город машина, подскажете название отеля — довезут. Мы как протрезвели и ринулись вниз по все той же парадной лестнице, солдатик проверил у нас документы и показал на машину. Мы к ней. Он же, солдатик, помог мне взобраться в кузов, затем Андрею, пожал руку и откозырял.

Время подошло к обеду. Старшая по группе Татьяна, молодая, проворная женщина и она же моя соседка по жилью, тут же распорядилась, что пообедаем, а потом в номер, закроемся — и нас нет. В ресторане том только наших (из группы) более тридцати пар глаз, а там военные разные, и с женами, и кого только нет — ресторан же! Ребята мои головы опустили, ждут, рады бы уйти, да не знают, удобно ли? Можно ли? Татьяна моя подозвала официанта, а я ей, Татьяне уже сказала, что денег полон кошелек, чтоб накормили, как следует... Тот принес пиалку с супом не с супом, одним словом, с жидким блюдом, поставил перед Татьяной, она передвинула ее Андрею, тот принес вторую, снова поставил перед нею, она — свою — перед сержантом... Мы все равно своих порций дождались, ребята швыркнули из ложек разок-другой и все, и отставили пустые посудины, тогда официант принес нам с Татьяной по второму: немножко зеленого горошка, немножко салата и крыло от курочки. Татьяна повелительно глянула на официанта и подозвала фрау Лиду — еврейку, нашу переводчицу, мол, закажите для ребят, что получше. И та ответила нагло, что это в ее обязанности не входит. «Ах так!» — Татьяна снова зовет официанта к себе и велит, чтоб подали по порции ребятам, подала сколько-то марок. Тот принес того-сего, под названием «второе», взял мар-

ки, толкнул в карман свой боковой, уже не тощий, а мы, не дожидаясь «третьего», все сложили в одну тарелку, другой прикрыли, завернули в салфетку четыре кусочка хлеба и демонстративно вышли из зала. Успели войти в номер, повернули ключ и замерли, потому что к нам тут же постучали. Немного погодя, разложили на столе еду, которую принесли из ресторана и которая была с собой, на всякий случай, Татьяна извлекла бутылку водки — одну сдали в общий котел, чтоб на встрече угощать немцев, заявив, что мы непьющие, хватит и одной.

Ребята чуть оживились, сняли гимнастерки, умылись, вздохнули с облегчением и, пока садились за стол, я опять не могла оторвать глаз от Андрея: в беленькой майке, коротко стриженный, даже немножко улыбочивый — наш Андрей, привычный. Никогда на ум не приходило, что военная форма может так «подменять» человека — внешне, по крайней мере, но и внутренне, надо полагать, присутствие военной дисциплины, наверное, даже во сне полностью их не покидало... Но если вспомнить стихи рядового Энли Смайла... Он пишет в стихотворении «Дежуря ночью»:

По казарме, где койки поставлены в ряд,
Я иду и гляжу на уснувших солдат.
На уставших и крепко уснувших солдат,
Как они непохоже, по-разному спят.
Этот спит, усмехаясь чему-то во сне,
Этот спит, прижимаясь к далекой жене.
Этот спит, одеяло стянув со спины,
В самовольных отлучках находятся сны.
А у этого сны, как подснежник, чисты,
Он — ладонь под щекой — так доверчиво спит...

Я не спрашиваю, как спится Андрею, и, вообще пока ни о чем не спрашиваю. Захочет, настанет время, примется рассказывать сам, пусть выборочно.

Угощаем ребят, чтоб ели, чего уж есть. Постель им приготовили на нашей двухспальной кровати, а мы с Татьяной будем спать на широком диване. Ребята быстро захмелели. Я все посматриваю на Андриюшину майку и не раз уж предложила, что постирала бы и она бы быстро высохла. Он тогда и поясняет, мол, она совершенно чистая, и постельное белье у нас такое чистое — с порошком стирают, — даже после занятий, особенно после работы, ложиться на него боязно. А это не грязь — показал на черные по всей майке точки. Это нам выдали советские байковые одеяла — черные, а пододеяльников нет, вместо них простыни, они ночью собьются, а одеяло «отпечатается», — пошутил.

Рассказали, как долго нас искали. Устали до изнеможения, решили, что зайдем еще в комендатуру, может, там ты была, спрашивала. А если ничего в комендатуре не узнаем, пойдем на электричку и поедем в свое хозяйство, хотя, конечно, будет очень и очень жаль, я очень тебя ждал...

Скоро ребят наших, усталых и сытых, наконец-то потянуло на сон, они легли и быстро уснули, а мы с Татьяной не спали долго. Все прибрали, подворотнички подшили, формы щеткой почистили и сапоги и все поглядывали на мальчиков, таких спокойных, родных и до сердечной тоски милых. Уезжать им в семь утра, чтоб к десяти быть в части. Знать бы, так и увольнение, может, продали бы, а тут — сутки и только.

Подъем в группе в восемь утра, завтрак — в девять. Все успеем, главное проводим. Я предложила утром Андрею плоскую бутылочку с коньяком, мол, может, командиру подаришь, что отпустил. А он переглянулся со своим сопровождающим и сказал, мол, лучше ребят угостим, а этих, чиновников, уж и так угощали.

Расставание было коротким. Не зря говорится: короткое расставание — малые слезы. Обнялись, расцеловались, Андрей, чтоб не расстроить меня и самому сдержаться, сказал: «Пока! Не болейте! Скоро дембель. Приеду уж на новое место — за вами прямо не угонишься...» — невесело пошутил. Ребята почти на ходу шагнули в вагон, и поезд плавно вышел из тупика.

А тут они с сержантом, сопровождавшим Андрея, вспоминают и будут рассказывать, как возвращались в свою часть, в Карл-Маркс-штадт. Ехали в открытых машинах. Чистые, прибранные и повеселевшие — отвечали, старались отвечать улыбками и приветствиями населению, которое высыпало на улицы, выстроилось вдоль дороги, на протяжении всего пути. В первых машинах офицеры в нарядных мундирах, на лицах значилось ясно: они — победители! Им преподносили шампанское, торты, цветы, да и вся дорога была усыпана цветами. А в наши машины то и дело залетали пакеты, а в них шкалик — непременно фрукты и сдоба. Нам хорошо, нам это очень даже нравилось. Скоро мы сообразили и установили очередь на те шкалики, не держим их на виду, а так, в пакетах, отопьем, а закусьваем, как полагается, безо всякой маскировки, отпиваем — закусьваем. Весело нам так сделалось, что мы уж и песни запели... Командиры, видать, смекнули что-то, заглядывают в кузова, а у нас только пустые шкалики по полу и более никаких признаков, а то, что настроение хорошее, — так домой же едем...

Вернулась я из Германии, повидалась с Андреем, посмотрела, как «побежденные» живут, а наши ребяташки... И вдруг, совершенно неожиданно для себя, я ощутила такую страшную, огром-

ную жалость ко всем абсолютно, даже к пьяным, — пьяный проспится; на улице которых увижу, и к хабалкам-продавицам... ко всей этой толпе несчастных моих соотечественников, разных в своем стремлении к счастливой и красивой жизни, или смирившихся с тоскливым безнадежным существованием... Всех хотелось обнять и облить слезами. За что?! Ну чем мы хуже тех «побежденных»?! Мы же лучше. Но эта постоянная и все нарастающая нужда, беготня за тем, за другим — купишь не купишь — полностью отнимает все: мозги, чувства и время.

После демобилизации, рассказывал Андрей, когда ехали через Польшу и Украину — выкидывали свои шинели и бушлаты: мы ж домой едем, а они, жители, такие обносившиеся, худые, изможденные... А когда приехали, как я, к примеру, в Вологду — и город незнакомый, и холодновато, — одеты не по климату оказались...

— А ты помнишь, — опять вспомнил Андрей, — когда я приехал в Вологду, нашел дом, квартиру, позвонил. Ирина открыла дверь и тут же закрыла... Только потом, когда звонок в дверь заверещал не по-доброму, открыла, постояла да как закричит: «Андрейка приехал! Андрейка приехал!» — и убежала на кухню.

Андрей после армии задержался дома ненадолго. Походил, познакомился с городом, с некоторыми нашими знакомыми, позвонил в Пермь, узнал, кто из ребят на месте и, отдохнув немного, отправился в Пермь. Хорошо, что ребята догадались занять на него место в общежитии, договорились, теперь, мол, дело за небольшим...

Петр Павлович, отец Виктора Петровича, по-прежнему жил в деревне. Ждал Андрея. Я ему наказала, чтоб не особенно деда баловал, а готовиться к экзаменам, наверное, места лучше нет. Дед варит хорошо. Белье стирает Ольга, а мелочь сами. Магазин работает, молоко будете брать. А фрукты покупай в городе на рынке — такая опять напряженная пора тебя ожидает.

Андрей уехал один. Из Перми через несколько дней позвонил, сказал, с кем встретился, узнал про дела в университете, собирает справки, а их теперь не много нужно, потому что подбирают экспериментальную группу из только что отслуживших.

За месяц подготовки к поступлению в университет Андрей потерял или израсходовал на напряжение (и волнение) восемь килограммов небогатирского своего веса.

Получили письмо, а затем и телеграмму, что зачислен, что место в общежитии обеспечено, ребята в комнате подобрались очень хорошие, даже удивительно. На льготы, которые наобещал маршал Малиновский, бывший министр обороны, — те, кто участвовал в Чехословакии, будут приниматься вне конкурса, — махнули рукой. А Андрей потом рассказывал, как еха-

ли они в трамвае, и один, только что отслуживший, начал задираться, мол, я в Чехословакии был! И тут его как окружили и как ему высказали на всю катушку — парня того в трамвае как не бывало... А в деревне во дворе объявился пятнистый хомяк, и мы, пишет Андрей, с ребятами его приручили, идем в уборную или в огород, а он уж ждет, посиживает на жердях, сложенных у стены крытой ограды, откликается на «Хомю», пьет из блюдца молоко, в еде разборчив, не то, что мы... Во всяком случае письма от Андрея получаем пока хорошие, хотя, по правде говоря, он никогда правду, если она «серьезная», и не выскажет, а объяснит коротко «живу нормально».

Когда я приехала в Пермь, ребята встретили. Оля, как всегда, была очень хлебосольна. После ужина Оля с Толей оставили нас на кухне одних, чтоб мы побольше поговорили, мол, мы-то ведь многое знаем, о многом он нам рассказывал. Только когда я сказала Андрею, мол, хорошо, что был тут с денюжками... А с деньгами, чтобы дать прибавку Андрею к стипендии на жилье, всякий раз возникали сложности: Андрей наотрез отказывался их брать, мол, достаточно взрослый, чтобы сидеть на шее у родителей. Схватил тройку, лишили стипендии — иди, прирабатывай. А в этот раз Андрей опустил голову, Толя с Олей переглянулись. И я поняла, что тут что-то не так, что-то случилось: или вытащили из кармана в троллейбусе, или случилось что, а потом узнала, что Ирина те деньги, шестьсот рублей, предназначенные для Андрея, брату не отдала, а уехала в Ляды с компанией и там их прогуляла. Андрей сидел все это время на одной картошке, которой давился, но ел, сдавал кровь на донорском пункте — там два дня по разу кормили и давали немножко денег. Занять бы у ребят, но ведь давно известно: берут чужие, отдают свои, а свои у него неизвестно когда будут.

Я смотрела на него, исхудавшего, иссиня-бледного, мрачного, и не знала, как подступиться, как его разговорить, потому что пока чего не спрошу — «все нормально», как с учебой — нормально... Тогда начала сама рассказывать, как живет, на новом месте, хотя вроде обо всем писала в письмах, сказала, что для начала забыли мой день рождения, да это не беда, это даже к лучшему было... Что все пытались представить, как ты сдавал экзамены. Как ездили на картошку — там, наверное, и перезнакомились ближе с ребятами? Что за человек — декан? Много ли на факультете народу?..

— Нет, давайте мы все-таки сначала выпьем... за мой день рождения, который прошел, затем за твой, который будет. — Извлекла из сумки шампанское и подала Андрею, чтоб открыл.

— Да я не знаю... может, не надо? Может, в другой раз?

— Надо, надо! — поддержали меня Толя с Олей. Андрей уже

взял было фужер, но отставил, помолчал и спросил у Оли, не осталось ли еще немного водки? Она метнула на меня изумленные синие свои глаза, однако быстро принесла и поставила на стол бутылку — в ней чуть меньше половины водки, развела руки, мол, тут все, больше нет...

— А нам хватит. Садись давай с нами тоже. И дай стаканы, не рюмки, а стаканы или стопки, чтоб по-русски.

Когда Ольга достала из посудника стаканы, Андрей разлил всем поровну, сжал в руке стакан, в окно посмотрел, помолчал и сказал:

— Давайте сначала помянем Володю, земляка из Березников, тоже много пережившего, может, даже больше нашего, а теперь уж все, отмаялся... Вы простите меня, я, наверное, не к месту... Мама, прости... ну да ты вроде меня понимала... В общем, так: Вовка поступал в университет, на наш факультет, но только места ему в общежитии не досталось, и он снял угол в Балатово — живут муж с женой. Ну как живут? Работают, пьют, дерутся, денег не хватает, вот и пустили квартиранта.

После колхоза, перед началом занятий классная провела с нами собрание, очень строгое, в нем главным было: если кто будет замечен в выпивке в общежитии или на улице — будет немедленно отчислен. Немедленно!

Вовка сдал последний экзамен, радостный шел к нам в общежитие, но не дошел, повстречал своего друга из Березников, обрадовались друг другу очень, тот настоял, что такое дело надо отметить, Вовка посопротивлялся слабо. Зашли в ресторан, посидели. Потом он долго добирался до Балатова, а свет в квартире уже не горел. Вовка стал стучать, сначала уважительно, затем сильнее, требовательнее. Хозяйка сначала сказала, что не откроет, что ей своего пьяницы хватает. Тогда он стал доказывать, что он же здесь живет, что обязаны... Тогда хозяйка распахнула дверь и наотмашь ударила Вовку по голове лопатой. Вовка упал. Она вызвала милицию. Его увезли в медвытрезвитель, а рано утром отпустили. Он шел и думал: как же ему теперь жить-быть? Из вытрезвителя сообщат. Из университета отчислят... Взял ремень, закинул за жердь, на которую развешивал свою одежду, которая служила вместо шифоньера, затянул на шее и упал на колени... Был и не был...

Когда нам утром сообщили, мы скинулись, чтоб взять машину, чтоб увезти Вовку в морг, чтоб дать телеграмму родителям. Непервая встречающая машина охотно согласилась везти висельника в морг... А он, Вовка, лежит на полу, голова набок, ремень подпINAN под кровать. Милиционер кивает на него, как на преступника, и велит пошевеливаться, чтоб скорее забирали, не то увезут его в «общественный» морг, куда всех сваливают, а по-

том как неизвестного похоронят за казенный счет. А ведь родители же приедут, может, приехали уже. Наконец шофер с самовала согласился довезти труп до морга. В первом не приняли — переполнен, второй — тоже, только в третий... с придачей...

— Ох, Господи! Мама, я допью твою водку — не могу больше... А потом нас проклинали Вовкины родители, что мы вот живые, а парень погиб, да как погиб. Тут уж мы терпели, молчали и терпели. Потом собрались у нас в комнате — хорошо, что ребята такие подобрались, — и шепотом, чуть не под одеялом, поминали Вовку и ревели. Все ревели... Кто-то стучал в дверь — но то уж не наши проблемы. И все повторяли: «Вовка ты Вовка! Что же ты наделал? С таким трудом отвоевал себе место в университете, сессию вот сдал... и так легко это место уступил какой-то маменькиной дочке из кандидатов...» Я вчера экзамен на тройку сдал, шел и думал, что же мне теперь, тоже как Вовке?

После этого, наверное с час, Толя с Андреем где-то гуляли, хотя холодно, может в подъезде, у батареи, погоревали еще по-мужски и вернулись.

Андрей разделся, долго мыл руки, и наконец сели за стол.

— Ну что, значит, за прошедший день рождения?

— Да я что-то передумала. Давай выпьем, чтобы у тебя хватило силы открыть университетскую дверь, отыскать свое место, откуда хорошо слышно и видно, и от окна не дует!

— Давай за тебя, мама, и за Ольгу — вы для меня такие родные, такие дорогие! Такие нужные... В общем, за вас! — Выпил Андрей уже изрядно выдохшееся шампанское, но оно все равно всегда очень приятное и какое-то многозначительное, что ли... Выпил, поцеловал меня, затем Ольгу. Толя потаранил глаза, повел плечами, мол, мне-то что остается делать? Тоже буду целоваться. Выпили еще — и за отца, и за деда.

Оля с Толей ушли спать часа в три ночи, а мы с Андреем еще разговаривали. Вспоминали, как встречались в Германии и как наше свидание висело на волоске, потому что могли так и не найти друг друга... Андрей собрался рассказать о том, как они блокировали Пражский кремль, а там же в тот год, именно в тот год, должны были проходить Олимпийские игры, но передумал, сказал, что этот разговор отложим до лучших времен: вот соберемся летом все в Быковке — там же всегда говорили кто во что горазд... вот тогда и об этом порассказываю... «Я очень был удивлен, — говорит Андрей, — что папа своим солдатским, опытным чутьем быстро разгадал, что мы не маршируем ать-два в своем, тьфу, какой он свой? — Карл-Маркс-штадте... А уж такое там было... Хорошо, что мы попали, нас несколько молодых салаг, таких же, как я, попали к старикам — к кадровикам,

и они нас постоянно спасали, где пинком в зад дадут — и глядишь, мина разорвалась невдалеке, но не в нашей ячейке... А как пить хотелось постоянно! И я тогда откровенно, ясно понял, как люди умирают от жажды... Как некоторые парни напились из трубы на кладбище трупной воды — ею только поливали цветы, и что с ними было потом, Боже мой... Нет, хватит об этом. В другой раз, — остепенил себя Андрей. — Но с тех пор я стал очень мало пить жидкости вообще, потому что понял, чем больше пьешь, тем больше пить хочется... А сколько ребят из-за этого погибли... Я опять к тому же. Ты, мама, не слушай меня, я все расскажу тебе и папе, но в другой раз».

Андрей все расспрашивал о папе, об Иринке, несмотря ни на что, жалел, что уехали из Перми, покинули Быковку. Я, говорит, когда приезжал туда ненадолго — попрощаться, еще постоял на высоком дедовском берегу и почему-то тогда уже решил: все, это в последний раз.

Я рассказала Андрею, как после встречи с ним виделась с Гришей Санниковым — сыном тети Нади, деревенской соседки. Он одолжил мне триста марок, чтоб купила домашним чего-нибудь, подарочки, а, мол, маме отдадите русскими деньгами — у нее никогда не хватает этих денег. Рассказала о том, что встречалась с папиной переводчицей Зигрид Фишер и ее мужем, они меня повозили по Берлину, показали, порассказывали, были в кафе, и они угощали меня кофе с мороженым... А после, когда вас с сержантом проводили, я переоделась, сходила в парикмахерскую и пошла в галерею — смотрела на божество, на Сикстинскую мадонну. Мужчины в группе были не очень воспитанны, не догадывались, чтоб уступить мне место ближе... И я какое-то время поглядывала на нее, когда группа переходила из одного открытка в другой, зато когда все пошли на второй этаж — знакомиться с фламандской живописью, я не пошла, — фламандскую живопись я посмотрю в других картинных галереях и в репродукциях. А тогда я отошла к входной двери и пошла навстречу Мадонне и переживала чувство удивительное, мне казалось, либо я возвышусь хоть на мгновение до нее, либо она снизойдет с небес до меня...

Это же незабываемо!.. И вообще, я — счастливый человек! Муж — писатель и очень хороший человек, вот только как переехали в Вологду, первое время выпивать было здорово наладилось, теперь вроде меньше, но когда работает — и выпивка, и многое другое отступает, уходит как бы на второй план.

На другой день Андрей, выговорившись, сдав последний экзамен, спал почти до обеда. Правда, сказал, что поготовится

еще и постарается пересдать, чтоб стипендия была... Дня на два-три, может, в Быковку съездим, Спирьку там натискаем, Хомю попроведаем, если не сбежал куда, всех попроведаем, может, хариусков подергаем... А на летние каникулы ненадолго, может, в Ленинград слетаем с ребятами, посмотрим. Евгений Васильевич все грозится свозить нас в ленинский Разлив... Чудной! Зачем он нам? Но если свозит, то тоже ничего.

Встречи с Андреем стали, естественно, редкими, и такое чувство было, будто раз от раза короче — это признаки тоскующего сердца. Он редко приезжал домой на зимние каникулы — и дорожные расходы, и в библиотеке посидеть, и на хоккей съездить компанией — город спортивный, «Молот» играл, правда, по настроению, но играл и иногда давал прикурить даже командам куда выше рангом. Правда, таких побед пермяки вроде и сами не то что боялись, но верили в них и не верили.

Дважды летние каникулы он вместе с ребятами проводил в стройотряде — делали пристройку к Чердынскому музею, и, как только начнет действовать тот пристрой, значит, увеличат штат, значит, увеличат и оклады, а оклады-то у музейных работников, что в ту пору, да и сейчас тоже — слезы, а не зарплата. Я, будучи в Болгарии, когда мне почти насильственно дали слово, представив меня детским писателем, то я, сказав об иных, нас объединяющих, проблемах, «под занавес» рассказала «забавный» случай. Моя знакомая учительница, больше — приятельница: мы с нею иногда даже и совсем кратко общались, но всегда интересно, а если позволяло время, то она мне вслух читает — очень быстро читала, — о модах поговорим, о «кошках», которые вдруг между Ваней и ею, да Витей и мною забегают, то у детей что-нибудь, то обновками похвастаемся... А напоследок она уж непременно оставит мне вместо снотворного шоколадный батончик, и хотя я и сама могла себе спокойно позволить такое удовольствие, но получить — куда приятнее. И вот она забегает со смехом и со слезами говорит, что две недели подтягивала своих двоечников, затем к докладу на областной учительской конференции готовилась — рвется на части. А тут еще прачечная не работает — чего-то поломалось. Одну субботу пережили, когда все выкупались — перевернула белье на другую сторону. Не успела оглянуться — опять суббота, опять банный день... Стою, оперлась на перила кровати и думаю: как же быть сегодня? А муж сзади и говорит: «А теперь поставь на ребро...» А я тогда и сказала, что будь моя воля, я бы взяла у мужчин, особенно у начальников — их же побольше, чем рабочих, — по выходному дню и прибавила бы их женщинам!.. Так аплодировали. Здесь — очень сомневаюсь. Но я бы здесь поступила несколько по-иному: взяла бы по выходному дню у начальников

от культуры и добавила бы эти выходные музейным сотрудникам, самоотверженным, болеющим за работу, не считающимся со временем, — и все это за зарплату, когда за чертой бедности, все это по пословице: куда натянешь — там и крыто...

Вот ребята из Пермского университета с исторического факультета и старались хоть как-то увеличить штат и ставки... Мало чего из этого получилось, однако начало сделали. Потом наш Андрей — надо же ему было отработать три года преподавателем истории после окончания университета, но Пермскому облоно истории не требовались, места были заполнены, и он тогда решил: днем заниматься раставрацией в той же чердынской церквушке, а ночью как бы работать сторожем. 75 рэ, плюс 75 рэ — не разбежишься, но и не опухнешь с голоду. Завелись же в этой сторожке крысы, наглые, жоркие, бесстрашные. Андрей рассказывал: ложусь, говорит, спать, думаю, пока печка топится — почитаю, а там часика три-четыре припущу, еду в кастрюле поленом придавлю или на плите чугуна оберну и под него... Только, говорит, начну засыпать, они тут как тут, и по мне бегать взялись!.. Я стал подле кровати сапоги с подковками на каблучках ставить, валенок они не боятся, бутылок — нет — откатят за печку, и все тут. Но я себя закалял, думал, какая-то меня жизнь ждет — ко всему надо быть готовым, а то, что недоспало, так в армии почти всегда недосыпали, но тут другая беда — после беспокойной, бессонной ночи стали дрожать руки. А как же работать-то? Нельзя, чтоб руки дрожали, надо чтоб рука была уверенная — работа тонкая...

Смотрела, говорит, на меня сокурсница друга, смотрела и однажды сказала:

— Тебе немедленно уходить отсюда надо и жить нормально. Надо ехать к родителям, они два века, как знаешь, не живут, и пока ты себя закаливаешь, они, не дай Бог, и «закалятся»...

Убедила. Да еще как!

Приехал Андрей к нам. Первое время все вроде было хорошо: комната есть, питание готовое, а работа? Ходил, смотрел, искал — нигде больно-то не ждут. Принял временно муж моей приятельницы, который советовал простыню на ребро поставить... Ну это он так, а на самом деле мужик хороший, работал в Удмуртии министром связи, потом перевели в Вологду — управляющим связи. А работа у Андрея временная, значит, случайная, значит, посылки грузить да разгружать. Сноровки в этом деле нелишка, стала болеть спина, и, как оказалось, открылась язва двенадцатиперстной кишки — сказала студентская «диета». Его в больницу. Вспоминает, что не знал, куда

даться. Стыдно и обидно. Ведь я же кое-что и получше делать могу, но, пока болею, лежу, лечусь — куда деваться?..

Не успел наш Андрей выйти после больницы на работу, вернее успел, но проработал две недели, и их, не специалистов, а вспомогательных почтовиков, неподотчетных рабочих, стали отправлять на уборку картошки и других овощей. А тут военные сборы. И снова на уборку урожая. Когда Андрей уезжал, я была где-то, скорей всего у Ирины — Витенька часто болел, — не видела, как он обут-одет, хотя он был «выучен» к работе в «полевых условиях». Приехал на побывку — и сердце мое не то что оборвалось, а тихо, обреченно, с глухой болью опустилось вниз и долго не находило в себе сил подняться и заработать нормально. Андрей почернел, губы будто синим карандашом покрашены, щеки ввалились, не щеки, а кожа на них провалилась до тех пор, пока не наткнулась на костную опору, глаза мутные, слезящиеся, и сидит он, не как сидят люди за столом, а как бы расстелив, уложив бок и грудь на стол, иначе не мог от боли «держаться осанку», и одной рукой подпер голову, все крепившуюся набок, а другой черпал из чашки еду, как уж зачерпывалось, и отправлял в рот... При виде такого больного Андрея, во все мое существо гулко и больно ударились убийственная мысль: «Моя вина... Это все последствия моих стараний освободиться от него — это моя вина...» Когда я опомнилась, обняла его, то он застонал: «Мама, не обнимай меня, во мне все так болит, я держусь из последних сил... Я еще сколько смогу, поем, потом, если успею, полежу, а там уж и ехать...»

— Куда ехать?

— Как куда? На уборку... Зарабатывать свой хлеб...

Я расплакалась, встав за его спиной. Он отодвинул тарелку, выпил чай, попросил сестру, чтоб налила еще, погорячей... Как-то старчески осторожно встал из-за стола, приложил ладони с растопыренными пальцами к груди, чтоб половчее уложить себя на кровать...

Ирина рассказывала, как он, тяжело заболев, приезжал домой, очень-очень больной... Я обрушивала на него все средства, грела, отпаивала чаем с малиной, то с медом, давала чеснок, в носки сыпала горячую соль, и он стал много пить... На другой день полегчало, но надо было отлежаться, а он снова поехал в часть, куда они после уборки были отправлены на два месяца, как в военные лагеря, и вот их использовали как рабочую силу...

— Мы все очень простыли, да и усталость, да и питание плохое — в последний день многие отравились, а я ковырнул вилок, поношал и есть не стал... Спим мало, живем, как в свинарнике... вот и результат. Мама, вы зачем меня сюда позвали, чтоб приехал и жил здесь. Ведь везде не сахар. И вам видеть меня та-

кого — чего хорошего, и мне уж лучше бы там... Ну, не знаю... — Задремал или копил силы, не двигался, затем продолжил: — Ирина съездила туда, попросила ребят, чтоб обмундирование мое сдали рабочее — там же все на учете. Теперь почти все нормально. А язва меня еще в университете дожимала, но опять же не меня одного... обходилось... Теперь, главное, сплю вот в чистой постели, сплю раздетый, ем, как следует. Теперь надо будет еще получить военный билет у командира — он живет неподалеку, где вы когда-то жили, и потом в комендатуру — я из-за болезни уехал на день раньше.

Да, — после долгого молчания, заговорил Андрей, — а работать грузчиком я больше не пойду, не буду кидать посылки. Постараюсь что-нибудь подыскать. Хоть в том же музее. Туда-то примут — там тоже носильщики нужны: таскать, устанавливать тяжелые скульптуры, стенды, бить-колотить: в музеях ведь, в основном, женщины, работают. Правда, опять на 75 рэ... Ничего, все равно с работой должно все устроиться, ведь учился же я для чего-то столько лет... и диплом с отличием.

В музее Андрей проработал недолго. А в отдельной пристройке, в полуподвале работал с сыновьями реставратор Федьшин, и они подолгу во время затянувшихся «перекуров» или после работы с ним разговаривали. От него Андрей узнал, что есть в Вологде специальная реставрационная мастерская с управлением в Москве — это еще от Грабаря идет традиция: поднатаскать неопытных реставраторов в музеях, в мелких мастерских, в разных филиалах, а потом уж, если очередь дойдет, если посчастливится, то и туда, в реставрационную мастерскую, работать вместе с профессионалами.

И как его заметил руководитель реставрационной мастерской — для всех было загадкой, потому что очередь туда попасть, ждут по три-четыре года. А тут... И стал наш Андрей работать в этой реставрационной мастерской, правда, там уже и не раз происходили какие-то перемещения или изменения, но Андрей работает реставратором по древнему искусству, коллектив маленький, дружный, если можно употребить в данном случае это определение, работают добросовестно и с полной отдачей. Андрей рассказывал, когда они едут в командировку, допустим, в Белозерск или в Нюксеницу — храмы все холодные, значит, в летнюю пору они занимаются реставрацией настенных фресок, росписей, восстанавливают «биографии» икон, представляющих особую ценность: определяют принадлежность этого произведения искусства — в каком веке написана, кем, какой школой, размеры, клейма и все остальное — самым подробнейшим образом. А дежурный готовит еду: ловит раков, рыбешку, собирает грибы, собирает камешки прибрежные, чтоб потом их рас-

тереть до тонкости, в работе они используются как красители наивысшего качества, моет пол. Одним словом, дежурит.

Однажды, говорит, работали в Софийском соборе, а там холодина, как на Северном полюсе. Вышли на крыльцо — покурить и погреться. У входа невысокая насыпь чистейшего песка, который нужно проверять несколько раз, чтоб окончательно очистить его и просушить. И тут идет мимо экскурсовод, что-то поговорила о звоннице, о Софийском соборе, о самой соборной горке, а когда увидела нас, тут же с язвительностью заметила: «Вот сидят труженики, так называемые реставраторы, и трудно представить, что труд сей, то есть реставрационные работы в соборе, будут завершены тоже в каком-нибудь веке...» А я, говорит, возьми да скажи, что этот вот песок из XV века!.. Мы покурили и ушли, а потом, когда снова вышли на перекур — от песка XV века остались жалкие растоптанные грудки. Мои ребята чуть меня было в песок не затоптали.

Затем Андрей встретил Татьяну Типунину. Они с отцом Василием Александровичем и матерью Еленой Ивановной жили от нас неподалеку. До этого я была не близко, но знакома с Еленой Ивановной, милой, светловолосой умницей, в серых больших глазах которой почти постоянно была печаль или смирение — мне так казалось, может быть, еще потому, что она почти никогда не смеялась в голос, только приветливо улыбалась. Брат Татьянин, Юра, был уже или преподавателем в институте или работал на кафедре, у них был сын Илья. Василия Александровича, по существу, почти не знала. Мне он был неинтересен, поскольку при разговоре — только о политике, о партии, иногда о шахматах — собеседниками мы не были, любезностью (ко мне) он не отличался, человек и человек, просто он — отец Тани Типуниной, всю жизнь работал при облизполкоме в собесе.

Таню первый раз увидела у нас, когда провожали Ирину в Ижевск — все пытались вразумить и наставить ее на путь истинный. Там жила наша бывшая няня, да и не няня уже, и не домработница — жила она после Секлеты, на том же положении: пила, ела за общим столом, дела не делила ни по дому, ни в огороде. Ребята с нею, или она с ребятами, жили по-панибратски. Они звали ее Капыней. Была хороша собой, крупная, всегда прибранная, золотистые волосы на редкость густы, глаза как цветущий лен, ладная, статная, справедливая и нежная. И потом эта наша Капа подружилась с красивым парнем Славиком, вышла за него замуж, и уехали они на житье в Ижевск, где жили Славины родственники. Вот мы для начала списались с нею, да она и лучше нас, наверное, знала порывы нашей дочери Ирины и тоже, как и мы, надеялась чем-то вразумить, настоять на том, чтоб поступала учиться в Ижевский университет,

мол, способная же, пока поживет у нас, а там либо в общежитие определится, либо на квартиру...

Одним словом, в тот вечер, перед тем как ехать на вокзал, собрались Иринины подруги: Таня Володина, Римма (не помню фамилию), Нина — сослуживица — и вот Таня. Потом, как оказалось, Таня Володина и Таня Типунина дружили еще с детского садика, жили по соседству, вот так Таня Типунина и оказалась среди провожающих Ирину. Она вместе с подругами сидела на диване, только чуть углубившись, может, от смущения, может, чтобы лучше наблюдать происходящее. Посидели подруги, сказали Ирине в напутствие добрые слова, что не раз еще встретятся, — заверили и уехали на вокзал.

Второй раз Таня была у нас в новогоднюю ночь. Мы сидели за столом, Андрей с нами, всем было хорошо, вроде с грустью провожали старый год, с надеждой на все хорошее в году наступающем пили более охотно. Вдруг в дверь позвонили, пришли Таня Володина — самая близкая Иринина подруга из всех и до последнего дня, с нею Таня Типунина и вроде еще кто-то и стали приглашать Андрея в их компанию. Я поначалу пыталась отговорить эту затею, у нас все на столе есть, шампанское — тоже, места всем хватит, но Таня Володина, уж чуть на взводе, от Андрея никак не отступалась... И не зря старалась, потому что с этих пор у Андрея с Таней Типуниной началась дружба, проявились взаимные симпатии. Я о Тане знала лишь, что она преподает английский язык в пединституте, что рукодельница, что закончила музыкальную школу, что уже в возрасте, как и наш Андрей, когда не мешало бы подумать о дальнейшем.

С Еленой Ивановной у нас в отношении Тани разговоров не велось вообще, да мы и встречались-то чаще всего на облисполкомовских дачах. У нашей соседки по дому муж работал в обкоме (может, облисполкоме), был прикреплен к этой даче, где семьей мог жить в летнюю пору, а зимой получать «пакет» продуктов. Мы туда прикреплены не были, только уж позже и ненадолго. А тогда Елена Ивановна и Тамара Рудольфовна, как бы между делом, ставили меня меж собой, и нам тоже перепадал «пакет». Здоровались при встречах, говорили о детях, о здоровье — вот, пожалуй, и все.

Таня стала уже бывать и у нас: являлся вечером с Андреем, поправляется, и Андрей скажет: «Проходи в комнату. Посидим. Куда торопиться?..» Когда разговор зашел о том, чтоб они поженились, мы приняли эту весть как естественную и даже более того — пока не «разбаловались», то есть не надумывали, а потом передумывали, — оба в хорошем возрасте, друг другу нравятся, отчего бы и не пожениться... Но не все гладко шло у них, и я это очень переживала: сначала Татьяне непременно надо было сде-

вать кандидатский минимум, и они решили, что лучше это сделать сейчас, чем потом. Затем тяжело заболела Елена Ивановна, неизлечимо тяжело. И когда Андрей приехал на машине встретить свою невесту из Москвы, увидел ее такой радостной, такой счастливой. И вдруг она не почувствовала ответной радости, спросила, мол, что случилось? Андрей уклонился от ответа, довез ее до дома, сказал: «Ну, пока», — развернулся и уехал.

А мать Татьяны умерла и уже лежала на столе, в гробу, приготовленная в последний путь.

Срок свадьбы перенесли на 23 августа, и дни эти жили в тревоге, в ожидании не радости, а еще чего-нибудь такого. И тому тоже были основания — у нас тяжело болел дед, и врачи не исключали летальный исход, ибо операция вряд ли поможет, если он ее и перенесет, то жизнь его продлится ненадолго... И тогда Татьяна сказала и себе, и жениху своему Андрею, что рок какой-то над нами, и если и 23-го мы не зарегистрируем свой брак, не станем мужем и женой — значит, тому не быть вообще...

Молодых заждались: пока ездили на кладбище, пока в больницу, пока соседи во дворе обступили — поздравляли, а стол накрыт, соблазняет, и Виктор Петрович начал заводиться. Наконец все разместились за столом, молодым даже под ноги цветов побросали, произнесли тост за молодых, кто уже выпил, кто еще не успел. Отец заметил, что его сын женится, а выпить не хочет... Мне, мол, это не нравится, это не по-сибирски. А Андрей в это время мне объясняет, что пить воздержится, потому что дед в больнице похоже опять «принял» и изрядно, а поскольку его уж за это дело не раз грозились выписать, то, мол, не исключено, что придется ехать в больницу и забирать его домой.

Виктору Петровичу показалось подозрительным, что сын не пьет и о чем-то с матерью шепчется, не с ним, а с матерью... и как когда-то в Коле Рубцове, в Викторе Петровиче тоже заговорило «абсолютное безумие» — и вмиг за столом никого не осталось... Иринка, ладно, сообразила, в корзины да в сумку сложила побольше угощенья и бутылок, Таня Володина все унесла домой, там быстро развернули стол, и... до позднего часа еще слышались смех, поздравления, песни — свадьба продолжалась.

Виктор Петрович, теперь-то уж что, дело прошлое, время от времени заходил ко мне в комнату, где я сидела одна, не плакала, не стояла у окна в тоске и печали, сидела и даже ничего не ждала, просто была ко всему готова: ударит — стерплю, оскорблять будет, кричать — так не первый раз — стерплю, ну, посуду бить, крушить будет — пускай, ни словом, ни лаской, ни угрозой, ни мольбой — ничем не выдам того, что в душе моей творится и как она черствеет, усыхает от моих горячих внутренних слез — только бы выдержать.

Виктор Петрович заходил не раз и не два: то спрашивал, когда все наорутся на улице и придут домой; то требовал, чтоб Андрей перед ним извинился (а за что?); то, чтоб этого большевика больше в доме не было... Я кивала, что поняла, что большевика этого в доме больше не будет...

Заходил несколько раз Андрей и с беспокойством спрашивал, как, мол, ты тут? Я отвечала, что ничего, сижу вот... А он? — кивал он в сторону кабинета отца. «А он все требует, чтоб ты перед ним извинился...» — «А за что?» — «Не знаю». Тогда он пошел в кабинет к отцу и я слышу:

— Папа, мне, наверное, за что-то извиниться надо перед тобой? Так ты, пожалуйста, извини!..

— Мать! — громко кричит Виктор Петрович. — Ты слышала, сын-то, Андрей-то наш, извинился перед отцом! Молодец! Я этого никогда не забуду! Ты слышишь? Не перед тобой, передо мной извинился! По этому случаю полагается выпить, а? Как ты думаешь, Андрей?

Скоро Виктор Петрович успокоился, лег в чем был и уснул. Когда я почувствовала, что он крепко уснул, притворила дверь в кабинет и стала прибирать со стола, с полнейшей осторожностью носила на кухню посуду, еду, и все вспоминала, как совсем еще недавно, может, неделю назад, Виктор Петрович получил письмо от писателя Е. Федоровского с просьбой, чтобы по его очерку-рассказу «Поединок» — фашист-асс преследует Ивана, одиноко бредущего солдата по кромке льда, — Виктор Петрович написал киносценарий. Витя признался, что никогда не писал сценариев, да на чужой материал, но за эту работу возьмется с удовольствием. «Я уже многое обдумал. А осенью тогда засяду за роман о войне.»

— Уеду в Сибирь, заберу тебя с собой, наверное, и деда — не оставлять же его на молодых — Андрей с Татьяной пусть женятся. Ирина, если работать пойдет, то с Витенькой справится... Не оставлять же тебя одну?!

Расспрашивал, нравится ли мне Татьяна, кто она, кто родители? Я рассказала, что знала. Тогда, говорит, пусть женятся, пусть все будет у них хорошо. Я буду только рад. Заговорил о том, где молодым жить. Там две комнаты и больная мать... У нас же! У Андрея комната великолепная, все на месте. Пусть живут. Нам теперь без Андрея просто нельзя. Мы так долго без него жили — армия, университет, отработка... Я уж теперь и не представляю, как это он снова уйдет куда-то или уедет. Пусть живут с нами. А мы... Есть изба в Сибле, есть дом в Овсянке. Вот съезжу весной, посмотрю, что там сделали, как отремонтировали... Можем как гости наезжать сюда, да если занеможется — тут больница рядом, либо очень затоскуем о внуке. Да и хочет-

ся, чтоб и Андрей подарил нам внука, внучку ли — для продолжения рода, на радость в старости...

И вот... Не из тучи гром. Ладно, что хоть Виктор Петрович не отправился на улицу, чтоб разыскать эту свадьбу — ведь это не шуточки! Это же женился его сын Андрей.

Я перемыла посуду, накрыла на стол, посуду, выпивку, закуски, завтрак в духовке — только включу, на маленьком столе все, что к чаю. Я не стану далее так же подробно рассказывать, что и как, да и не знала, как и что там.

Андрей перешел жить к Тане — отец им выделил комнатку, гостей они не приглашали, по-моему, потому, что только начинали жить, чего не хватить — все нужно приобретать. Потом Таня забеременела и в середине следующего лета подарила Андрею сыночка, а нам внука.

Но кабы все так ладно да складно... Так в жизни, наверное, не бывает. Но то, что ожидало меня, — вроде и не в первый раз, но как — это уже особый разговор, а жизнь... сбившая меня с толку, почти уже и изжившую свою жизнь — так смешала все карты, так больно и неожиданно, так жестоко и публично, что мне впору взвыть по-цветаевски: «Мои милый, что тебе я сделала?» Даже не жизнь, даже не обстоятельства, с которыми бы еще можно было как-то все отладить...

Зато было все эффектно — у Виктора Петровича уже был опыт, и не малый, выступать перед аудиторией, он всегда знал, чего от него ждут, предполагал вопросы, знал, что говорить.

В тот день он тоже знал, что говорить, только, думаю, об этом знал лишь один он, и никто больше, если понаслышке, то, может, кто и предполагал, но чтоб так...

Писательское отчетно-перевыборное собрание проходило, по-моему, в библиотеке имени Батюшкова. После доклада-отчета, отчитывались литфонд и ревизионная комиссия, затем вручали новенькие писательские билеты тем, кто был принят в члены Союза писателей уже давненько, но билеты красивые, аккуратные, привезли из Москвы недавно и потому вручение их приурочили к собранию. Выдали такой билет и мне. Я получила, поблагодарила кивком головы и снова села на место. Виктор Петрович в президиуме. Как обычно, после перерыва были прения и сразу же выдвижение кандидатур в члены писательского бюро. Когда назвали фамилию Виктора Петровича, он поднял руку, прервал зачитывание списка кандидатур и сказал:

— Прошу меня отныне ни в какие списки не включать, в том числе и в состав бюро. Я днями уезжаю. В Сибирь. Совсем. У меня все. Извините. — Сел было на место, где сидел, но тут же встал, сошел со сцены и покинул зал.

Снова перерыв. Все вышли: кто курить, кто обсуждать такую

ошеломляющую новость. Ко мне подошла Ольга Фокина и сказала: «Я жму вашу мужественную руку!» Я ответила рукопожатием, пожала плечами и никак на это не отозвалась. Потом, когда собрание продолжало работу, я по-прежнему сидела, смотрела на говорящих с трибуны, слушала и не слышала, о чем говорят — это отныне их проблемы. В перерыве перед голосованием ушла.

Вышла, подумала зайти за Витенькой в садик, посмотрела на часы — еще рано, дошла до скверика перед детской больницей, села на лавочку, которая была как бы сокрыта от глаз, и попыталась как-то себя взять в руки — какое странное выражение! — послушала детский плач, доносившийся из открытых окон больницы. И тут мне моя больная голова опять припомнилась все — так бывает с нею всегда: от горя или от радости болевала нестерпимо.

Вышла на дорогу, чтоб идти к садику, но еще не рядом, далеко. И тут навстречу мне мужчина едет на велосипеде. Так бывает, когда встречные люди не сразу могут разойтись, оба сворачивают в одну и ту же сторону... Я нигде не успела свернуть, и когда велосипедист был уж совсем близко, я резко схватила рукой колесо и... сожгла себе ладонь. Почувствовала боль и подступающую тошноту. Он соскочил с велосипеда:

— Женщина! Что с вами? Вам плохо? Вас проводить?

Я отмахнулась рукой, заметила у ближнего палисадника возле дома скамеечку, села. И хлынули слезы... да такие, что я даже слышала, как они падали с глухим звуком мне на платье, на грудь, и как расплывались в мокрые пятна... Зато стало легче дышать, я быстрее сообразила, в какую сторону и зачем мне надо идти. И пошла. Витенька играл на площадке перед садиком, с ребятишками, которых еще не разобрали родители по домам. Увидел, обрадованно закричал: «Баба! Подожди маленько, мы скоро доделаем...» Я кивнула, что подожду, снова поискала, где бы присесть, увидела низенькую скамеечку на территории садика, вошла и села. И даже вроде сесть-то еще не успела, вижу, бежит Иринка, за сердце держится. Села рядом, обняла, ни о чем не спрашивала, ничего не говорила, только спустя немного времени сказала, что волновалась — ни тебя, ни Витюшки... Отец с Кузольевым на кухне водку пьют и о чем-то возбужденно разговаривают, мне дал знак, чтоб уходила...

Я радовалась единственному — никому не дано заглянуть мне в душу. Была, конечно, мысль, чтоб уйти из жизни, но так, чтоб никого не винили. Я же когда-то, давно еще, сразу после войны, наглядевшись на усталых, изможденных людей от нужды и болезней, которые и себе, и родным в тягость, тогда еще решила для себя: мне надобно дожить до шестидесяти — я здоровая женщина, у меня будут дети, я их смогу поднять, а по-

том... постараюсь не быть им в тягость. И прав был поэт, утверждающий, что мысль материальна, и мне не пришлось долго этого ждать... пока — предупреждения.

Чувство радости от встречи с детьми перемешалось со страданием — самочувствие мое все ухудшалось. Я все-таки посидела еще за столом — пришел Андрей, Тамара Четникова, да Надя Петухова — наши давние и близкие знакомые. Они сидят, а у меня уж голова плохо держится. Надя — врач. И когда я, извинившись и сославшись на усталость, сказала, что хотела бы немножко полежать, она так посмотрела на меня, строго, укоризненно, затем под села ко мне, подавила в одном месте, в другом — и сказала, что, мол, если не пригласите врача из соседнего подъезда, чтоб проконсультировать, сама вызову «скорую» и отвезу вас в больницу. Пришла и Татьяна Валентиновна — врач — соседка, тщательно меня осмотрела и велела вызвать машину. Со мной поехал и Андрей, и она, пока принимали, пока заполняли... то да се, а клеенка на топчане холодная, а форточка открыта, а температура 39. Татьяна Валентиновна дозвонилась до главного хирурга — хорошо, что он оказался дома: было воскресенье. Быстро приехал, вошел в приемную, поздоровался — мы были не близко, но уже знакомы, спросил про анализы и сказал, что придется оперироваться, чтоб готовили большую операционную... Я тут же подумала, что раз дело такое, надо все запомнить — когда еще окажусь в операционной?!

Меня распяли на узком и длинном столе, как на кресте, чтоб были вытянуты руки по сторонам, сестрички придерживают за руки, и одна говорит: «Спокойно... спокойно... сейчас вы будете засыпать...» А в углублении операционной звякают инструменты. А у меня мысль: «Точат ножи булатные, хотят меня зарезать...» Повернула голову, увидела много-много белых шапочек, прямо строй... И на этом мои всякие ощущения кончились...

Слышу, кто-то легонько хлопает меня по плечу, открыла глаза и вижу: сидит, опершись на поручни — барьерчики моей кровати, Владимир Александрович Раздвогин, оперировавший меня, и говорит, мол, вы не в пожарники собираетесь? Я вроде удивленно пожала плечами, а оказалось, только открыла веки, а он: «Так ведь десять вечера, прошло уж почти двое суток...» И тогда я нашла в себе немного сил, чтоб сказать:

— Значит, перевалили...

Очнулась на другой, может, на третий день, уже не в реанимации, а в маленькой послеоперационной палате, и ко мне то и дело то сестра — температуру меряет, то хирург посмотрит, похмурится, прикроет и уйдет...

А к концу недели сказал, что «барин» мой лопнул, началась гангрена... гангренозный перитонит... нелишка ли для такой маленькой да не больно молодой?... Ох-хо-хо... Пролежала я тогда долго, и меня только успели выписать, как поступил Андрей — с острым аппендицитом... Его тоже оперирует Владимир Александрович, но уж под местным наркозом, и они с Андреем переговариваются:

— Ты что, по стопам отца идти собираешься?

— Нет, по стопам мамы, — невесело отозвался он. — Ее только что выписали, и вот я подросел...

Получила письмо от Гали Краснобровкиной — двоюродной сестры Виктора Петровича. Написала, что получила от Иринки телеграмму, что маме операцию сделали, которая оказалась очень тяжелой, перенесла... Виктор Петрович был очень изумлен, несколько раз переспросил, какая еще операция? Мне только этого еще не хватало... И здесь найдут... А потом вдумался, о чем идет речь, и стал спрашивать, как да что, может, помочь чем надо, лекарствами какими или с кем-то переговорить в Вологде, чтоб помогли... Я, пишет Галя, сказала ему обо всем, что было и что могло быть, если б чуть промедлить, но теперь слава Богу. Теперь только бы поскорее выздоравливала. От Виктора Петровича приходили письма далеко не любезные, и я не стану о них говорить...

В начале лета к отцу в Красноярск съездила Иринка с Витенькой, сколько была, не помню, наверное, весь отпуск, а когда вернулась, первое, что сказала: «Мама! Тебе обязательно надо ехать к папе. Обязательно...» Надо так надо, значит... надо. А я же после операции и помощников нет. Иринка на работе, Андрей тоже. Наготовила на обувной тумбе свертки с разными подарочками — на разные случаи. Зайдет почтальонка:

— Милая моя, хорошая, не сделаешь ли мне одно дело, не окажешь ли услугу: мне нужны коробки картонные. Вот деньги, вот шнур, чтоб их перевязать — они ж в расплюсненном виде. Магазин близко, продавцы уж поосвободились. Попроси из милости...

И она в тот же вечер после работы трижды сходила в магазин и купила коробок. Их, правда, на все книги и посуду не хватит, ну, на сколько хватит, а там опять видно будет. Подружки две мои закадычные купили по десятку мотков бельевого шнура в магазине. Я потихоньку сложу книги на пол, сколько смогу, а потом усядусь тоже на пол и укладываю их по форматам, чтоб плотнее, наполненные растолкаю по сторонам, шнур приготовлен, но мне не упаковать, значит, опять жду оказию. Кончились коробки, снова ту девушку прошу купить, а она, за подарочек, охотно мне опять натаскает. Пришел как-то Андрей, видит такое дело и говорит, мол, сама понимаешь — я тоже работник пока липовый после

больницы-то, но могу тебе закупить водки — этой палочки-выручалочки. Сказал и сделал. Спасибо ему. А когда коробок с книгами набралось уж много, позвонила в домоуправление и попросила Сашу зайти — знакомый сантехник: он дело сделает, я ему бутылку — у нас уж давно с ним дело ладится, так и с батареями было... Пришел Саша, посмотрел, свистнул, затылок почесал, глянул на обувную тумбу, скинул рубаху — и за дело: все коробки шнуром перевязал и уложил вдоль стены, одну на одну.

Три комнаты освободились, и я опять за Сашей; он снял в них с полу новый линолеум, повыдергивал гвозди, где торчали и пообещал даже краски раздобыть. А линолеум этот Ирине в квартиру, остальной к ней на балкон — мало ли, может пригодиться...

Уж как, на чем сплю, чего ем-пью — только я и знаю... Ведь стоило хотя бы тех же писателей позвать — сделали бы и выпили... Но я же вроде брошенка... Я и в доброе время к ним в Союз обращалась раза два — просила рассказы почитать, а они все в голос, ну что вы, Марья Семеновна! Рядом с вами такой кит, а мы какие критики. На том дело и кончилось.

А меня добрые люди между тем то в одном деле выручат, то в другом помогут... Мы с Робертом Балакшиным, дай ему Бог здоровья, даже полы покрасили: был же указ, чтоб при сдаче квартиры был сделан хотя бы косметический ремонт, иначе плата там в каком-то размере...

Слег в больницу свекор. День ото дня ему становилось все хуже и хуже — Петр Павлович маялся бессонницей — о чем только мы не перебеседовали за эти горькие три недели. Состояние свекра не оставляло надежд. Посоветовавшись с лечащим врачом, я отправила телеграмму Виктору Петровичу. На другой день пришла ответная, что прилетает. И действительно, прилетел, и еще застал отца в живых. В тот день, как мы вернулись домой из больницы, — третьего сентября 1979 года — Петр Павлович скончался.

А у сына Андрея Викторовича и Татьяны Васильевны Астафьевых родился сыночек Женя 30 июня 1980 года. Растет хороший паренек, готовится к поступлению в лицей, а родители по-прежнему работают преподавательницей английского языка и реставратором по древнему искусству.

Я ничего не написала о том, как из-за нашего переезда в Сибирь сколько они принимали мытарств с квартирой, сколько мотались с одного жилья на другое — тут-то не по своей вине, а так было угодно хозяевам, пускавшим их на временное проживание. Не описала всех хождений по мукам, пока их включили в строительный кооператив и выделили в выстроенном доме трехкомнатную квартиру, но поскольку и эти их квартирные

хождения были не последними, то в конце нашего семейного жизнеописания мне и этого, увы, не избежать...

Я не раз и не два, тогда, когда лежала в больнице после операции, и после, когда дежурила у деда-свекра своего в той же больнице, вспоминала тот разговор наш с Виктором Петровичем, когда приезжали в Быковку уже в последний раз (тогда об этом говорили еще без определенности), — разговор насчет переезда в Сибирь...

Витя снова и снова горячо говорил о том, как болезненно тоскует он по своей родине. И знаю, мол: когда буду жить там, скорее всего встречу то, к чему стремлюсь. Там еще трудней будет жить и работать. И тем не менее. И снова:

— Как ты-то думаешь по этому поводу? Почему молчишь? Почему я бьюсь, как в каменную стену, все эти годы? Ведь ты во всем, даже в самом малом, даже в жертву многим для себя, идешь мне навстречу, но как только вопрос касается переезда — молчишь... как немая делаешься. Почему? А мне выбирать-то нечего: жить только или в Сибири, или в Перми.

И я сказала о том, о чем думала постоянно, всякий раз, когда ждала его возвращения из Сибири, тревожилась, страдала — и на то были основания, повод давал сам, и не единожды...

Устала от большого ожидания, вдруг скажешь: «Как мне не хотелось уезжать из Сибири! Как мне не хотелось ехать сюда», что, мол, там мое сердце, там моя жизнь... Не скажу, что с удовольствием, но ждала и того, что ты скажешь: «Нас там ждут. Нас туда зовут...» — но никто нас туда не звал, никто нас там не ждал...

А ты, возвращаясь, всегда говорил: «Как хорошо дома! В Сибирь хорошо ездить в гости, а жить надо дома да в Быковке...» И я утешалась, только бы помочь хоть чем-то, хоть как-то ему на первых порах, может, поступил бы в университет. И тогда — я устала... и тогда мне будет уж все равно — куда ехать, где жить... А поехать я, конечно, поеду, хоть куда, хоть из ссылки в ссылку... Ты — моя жизнь. Куда ж я без тебя? Хотя помнишь, как однажды ты спросил, чего бы мне подарить такое на мой день рождения? И я сказала без раздумья, с надеждой, даже больше — с просьбой:

— Витенька! Скажи мне, дай слово, что ли, что нынче ты от меня никуда не денешься: не уедешь, не умрешь, не дай Бог, я же вижу, я же чувствую, как болят твои раны, как болит от перенапряжения в работе твоя контуженная головушка, — что не ударишь жестким и легким своим решением: «Ну и оставайся лавка с товаром...» Однажды я этого не переживу, а мне так хочется пожить, и я, как та поэтесса, «я пока люблюсь белым светом, я пока не верю, что умру...» Я так люблю тебя, так мне хочется наговориться с тобой вволю, но не о том, о чем говорим

мы с тобой сегодня, хотя этот разговор — неизбежный и очень нужный, и от него все равно нам никуда не уйти...

В Сибири мне будет плохо, я знаю, даже очень плохо, и буду я там в полной беззащитности, только запрусь в душе, и все... Мне захочется кому-то высказать свою боль и тревогу, нестерпимо захочется, а я смолчу, а завтра скажу себе: «Молодец, Маня, что никому ничего не сказала! Пойдут только лишние перекуды, а помочь, изменить что-либо, понять — никто все равно не сможет... да и все равно, родственники твои все и всегда будут на твоей стороне. И разлуки наши будут длинней, и одна я буду дни и ночи. Если ты будешь работать — я одна, если не будешь работать, то будешь у родни, или они у нас, а это значит, опять только выпивки, только выпивки... И у меня уже не хватит сил оградить тебя от этого, да ты и сам не захочешь портить с ними отношения, на время уходить от внутреннего, тяжелого сожаления — подтверждения своим предположениям, что не найдешь в Сибири того, к чему и куда стремился... И, конечно же, уж никогда не скажешь: «Маня, поедem в Свердловск... или Москву, или еще куда...» А я ведь этим всегда безмерно дорожила, и чем дальше — дорожу сильнее, прямо до сердечной тоски... И то, что Пермь на перепутье и бывает много приятных встреч, интересных разговоров, будь то в городе или в Быковке, и ты всегда, постоянно в курсе новостей, событий... И для меня это очень много значит, потому что читать удается мало, и быт заедает, и я, стараясь «держаться на плаву», то есть постоянно желая возвышаться до твоего ко мне отношения, наполняю себя тем, что узнаю из разговоров, что-то от тебя, что-то извлекаю из поездок... Иначе ведь ты мне никогда не станешь читать, что у тебя написалось, и тем более прислушиваться к моему мнению, доверять... Я уж не говорю, что там для меня кончится многое, почти все, что дарило радость, высветляло душу... и театр, и деревня... все. «Я там под небом чужим, я как гость нежеланный...»

— Ну, хорошо, — сказал Витя, — вот доживем до лета, поеду в Красноярск, поселюсь у Аппи в мастерской, поживу, начну писать роман, посмотрю, что получится. Как будет работаться. Хотя в душе уверен заранее: трудно будет потому, что не будет тебя рядом, не будешь ты стучать на машинке или греметь кастрюлями, не будет вокруг того, к чему я так привык за эти двадцать с лишним лет, с чем сжился...

Разговор был откровенным. Я боялась остановиться, прерваться, боялась снова замкнуться на своем терпении и все слабующих надеждах... И Витя вдруг горячо заговорил о своих ко мне чувствах, что много уж раз терял меня и не хочет этого больше. Даже говорил, что я, может быть, и не меньше талантлива в чем-то, но не ищу возможности проявить себя, а верой и прав-

дой служу его делу, что он это знает и ценит и что, не будь меня, он очень скоро утратил бы присутствие духа и все, чем силен, жив, горд. Что он знает себе цену как писателю — он ходит не в первых, но и не в последних, а в третьих или четвертых рядах. Но может ничего этого не быть, если мы не будем вместе...

Вспомнил, как однажды, в День Победы, мы были дома одни, зашел Слава Расцветаев — артист из драмтеатра. Накрыли небольшой стол, выпили понемногу, и в разговоре он, Витя, коснулся, да что коснулся, думал с горькой тоской, когда уходил на войну, добровольцем — не потому он тогда отказался от брони и уехал на фронт, чтоб подвиги совершать, а что его некому проводить и некому будет оплакивать, если его убьют... Но он остался жив, и впереди еще много жизни, наверно, много, если уж такое пережил... А если бы убили, мое место в жизни, мою семейную ячейку занял бы кто-то другой, были бы дети, но не от меня, не мои дети... Да как же такое возможно?!

Много-много мы в ту ночь переговорили. Витя вспоминал, как всякий раз уезжает из дому и как я его провожаю. Вот и в этот раз, когда улетаю в Киев, стал садиться в самолет, оглянулся, а ты, говорит, стоишь одна и плачешь. И у меня все время было тягостно на душе: «Зачем я поехал? Куда? Тут остается человек, любимый и одинокий. Я должен быть с нею. На что мне эта литература и все на свете. Но ведь надо...» И вот так всегда: все надо, надо. И я стараюсь одолеть себя... Или тогда, на вокзале, уже в вагон сел, уже поезд тронулся, посмотрю в окно, а ты стоишь в створке, одна... Выпрыгнул бы и никуда бы не поехал...

Или уедешь в город из деревни, и я хожу весь день, то по огороду, то по избе, что-то пишу, что-то делаю, а получается все не так, не то... И вот иду встречать тебя на берег, особенно под осень, когда пароходик уже в огоньках, приближается медленно, а видно его далеко. Всматриваюсь: ты стоишь всегда первая к выходу, с большущим рюкзаком, такая маленькая и такая родная! И я уж знаю: ты торопилась побыстрее управиться в городе с делами и вернуться. Стою, смотрю на тебя, а в душе такое делается! Схватил бы тебя, зацеловал, затискал, такую маленькую, такую безмерно дорогую... Сойдешь на берег. Я забегу у тебя рюкзак, идем, разговариваем, а чтоб дать волю чувствам своим, ласке — нет! Я ж сибиряк!..

Когда Роберт докрасил гостиную — без нее я могла уже обойтись: то у Ирины переночую, то у Четниковых, на одну ночь съездила еще раз к тете Тасе — и начала оформлять выездные, выписные документы, сниматься с учетов, хотя, если по правде и зная, какие огромные штаты работающих в горкомах, обкомах и

прочих заведениях, без одной бумажки от которых я не могла получить нужную справку, без которой не дадут другую... Самое легкое дело было с выпиской. Не мне. Я-то, сидя в пустом углу пустой огромной квартиры, наревелась-навывалась, как только могла, — отвела душу. А все дело было в том, что наш разъезд с Виктором Петровичем никто, особенно из начальства, всерьез не принимал, все выискивали первопричину сохранения квартиры. Андрей перешел жить к Татьяне — там квартира не то что огромная, но на троих вроде бы подходящая... Все в городе, особенно начальство, знали о том, что отец жены Андрея — человек немолодой и нездоровый, и ему вроде бы даже рискованно оставаться жить одному в этой квартире. И я уж не стала брать греха на душу, усовестилась, чтоб убеждать, что молодые — сын с женой — станут жить в этой квартире. Тогда, когда я все же об этом заикнулась, мне прямым текстом ответили, мол, лучше бы не придумывали причины, а объяснили бы своим молодым, что в вашей квартире, если они и решатся оставить отца-старика одного, — к ним в ближайшее время подселят людей, может, семью, может, и не одну... Тогда спохватятся. Это вам с Виктором Петровичем как писателям полагалось по двадцать метров дополнительной площади, у них этих льгот и прав нет... А вы — и дочери квартиру, и сыну...

Я выписала Андрея, осталась без вины виноватая, потому что прошло немного времени, и тесть заявил Андрею, чтоб он освободил жилплощадь. И побыстрее. Дочь может оставаться, а зять чтоб освободил жилплощадь... Боже мой, даже представить невозможно, чтоб родной отец повелел освободить квартиру зятю, то есть мужу родной дочери, у которых уже появилось такое очаровательное существо — сыночек. Женя, родной внук деду... Как я только потом ни казнила себя, куда ни ходила, кого ни просила о помощи — так сложились обстоятельства, но, как теперь говорят, паровоз ушел...

Когда я была на приеме у замечательного человека председателя облисполкома Виктора Алексеевича Грибанова — он растерялся от такой жестокой расправы над семьей собственной дочери, говорил, мол, он через неделю на коленях станет их умолять вернуться... Но это не тот человек. Я ему не судья — уж какой есть, такой есть... Виктор Алексеевич даже предлагал через суд поделить жилплощадь. «Да что вы?!» — ужаснулась я одной только мысли и стала просить о том, чтоб ребята включили в кооператив по строительству жилья. Может, где-то уж такой дом строится, и там, как правило, оставляют две-три квартиры резервных. Председатель облисполкома поставил визу: «Включить». А председатель строительного кооператива тут же, при мне, потом уж при Андрее, демонстративно ее зачеркивал и угрожающе заверял, мол, пока сижу на этом месте,

пока я руковожу кооперативным строительством, фамилии этой в списке на строительство и в дальнейшем на получение квартиры — не будет!

В последний раз я была на приеме у председателя облисполкома в начале весны — приехала в Вологду, чтоб помочь Ирине на первых порах с месячной дочкой Полиной, может, удастся найти подходящую няню, девочку-подростка хорошо бы, чтоб на необходимое для Ирины время могла бы оставаться с ребенком. Пришла за час до приема, и когда увидел меня зам. пред. облисполкома, спросил: кого жду? Я сказала. А он мне: «Виктор Алексеевич тяжело болен, лежит в больнице, а как будет получше, его перевезут в Москву, на дальнейшее лечение...» Захожу к Ирине домой, она вся в слезах и подает телеграмму из Красноярского крайисполкома: «Срочно выезжайте — Виктор Петрович опасно болен...»

«Господи! Да что же мне делать-то? Куда ни ткнусь — все бур гор да яма... Да милые вы мои! Родные! Может, я чего не так делаю, хоть и стараюсь, может, мне уж уйти... но как же я без вас? Как вы без меня?» — упала на колени перед диваном, на котором спит-посапывает малюсенькая и родная кровиночка — внучка Поленька. Покатала я голову по дивану, повывала, затем умылась холодной водой, привела себя в порядок, как могла, села и написала обо всем, что происходит, Виктору Алексеевичу, вложила в подписанную для него книжку свою, посидела в его больничной комнатке, рядом со спальней, а ему дали снотворного, и он спит, а мне за Витенькой в садик, а там уж скоро в Москву — на поезд, в Москве уж куплен билет на самолет до Красноярска... Так и не дождалась, когда он проснется, ушла в садик за Витенькой. Пришла домой, опустошенная в душе, лишь головная боль делалась со мной, что хочет, — в пору об стенку биться.

И тут звонок — меня к телефону просят. Подождала. Поздоровалась. Звонил Виктор Алексеевич из больницы, прочитал мое письмо. Мол, езжайте, спасайте Виктора Петровича, а за Андрея не беспокойтесь, мол, все будет в порядке, поверьте моему слову. Этот человек в управлении — случайный. Я все предприму, пока не буду уверен полностью в том, что квартира в этом доме семье Андрея будет, — не уеду. Взнос можно внести хоть завтра, — сказал куда, кому... А я слова выговорить не могу. — Ждите вестей от Андрея и, возможно, из исполкома. Спасайте Виктора Петровича. И сами будьте здоровы...

Перед этим Андрей с семьей жили на квартире три дня: хозяин сказал, мол, по мне, так хоть год живите, хоть боле, но послезавтра приезжает жена, а у нее характер... не поглядит, что ребенок маленький, что деваться некуда — может среди ночи вытурить...

Пришел Андрей, разулся у порога, мол, уж больно чисто и пусто... Расстелили газету на полу, он достал из кармана две рюмки, пол-литра водки, колбасы, конфет и сыру. Нарезал, разложил все получше, и по первой выпили молча, прямо как за покойника... Не сразу разговорились. Андрей обошел квартиру, в окна посмотрел, обоим погладил и как бы мысленно на все сразу махнул рукой — было, да прошло.

Я рассказала Андрею, как после его ухода в армию папа заходил в галерею, Афанасий Вавилов был ему очень рад и все повторял — благодарил за такого замечательного сына, за Андрея. Всем: и молодым, и пожилым ваш Андрей пришелся по душе. Мол, спасибо вам за него!.. И папа от радости такой, получив по твоей доверенности не полученные тобой денежки, тут же их прогулял, потом еще из сберкасс добавил... Не думаю, что от веселости. Мы очень долго и тяжело переживали разлуку с тобой... и опять же ничего не могли сделать, чтоб хоть как-то облегчить тебе службу... и жизнь, да видишь вот, как все и идет...

— А ты помнишь, как перед отъездом в армию, вы с ребятами накупали цветных надувных шаров, надули их и бросали слону под ноги... — уходила я от тяжелого разговора.

— Ага, помню. Зоопарк же был рядом с галереей, и мы частенько туда наведывались. А когда кинем слону надутый шар, он тяжело поднимает свою ножищу и только собирается растоптать его, а шар уж взлетел от движения воздуха, слон сердится...

Выпили еще по одной. Андрей еще раз, уже сидя на полу, обвел взглядом комнату, часть отцовского кабинета и с раздумьем сказал:

— Я не знаю, поверишь ты или нет, тем более, что мы в данное время находимся в таком пиковом положении, в смысле жилья, а тут вон какие хоромы... Мне жалко тех интересных разговоров, которые здесь, в этой квартире велись... Не думаю, что интересна была жизнь у Дрыгина, хотя он мужик хороший, не думаю, что интересней будут жить здесь те, кто поселится после вас... Давай еще помаленьку! — Чокнулись, Андрей еще пошутил, мол, коль спишь на полу, так падать некуда, не ушибешься... Помолчал, огорчившись, что живи бы они нормально, разве допустили бы, чтоб ты здесь... одна... в пустой квартире... на голом полу... Господи!.. Нам с тобой часто в жизни «везет», то тебе, то мне... Ну, ладно. И все-таки больше всего мне жалко знаешь чего? Быковку и родной наш Чусовой.

Сидели как две сиротинушки до сердечной тоски родные и дорогие друг другу. Андрей заметил, что начало светать, и поднялся:

— Мне ведь завтра, вернее уж сегодня, на работу... Ну да ладно. Объясню шефу про свою бессонную ночь, пусть нарядит катать-таскать, двигать, короче, на грубую работу чтоб отрядил, — для реставрации я сегодня не гош...

Долго стояли обнявшись, молча, только время от времени сильнее прижимались друг к другу — перед разлукой, а какой длины она окажется? У него с семьей пока все покрыто мраком неизвестности. Я пообещала, что как смогу, так и приеду... «У тебя голубая мечта — Урал. У меня мечта, чтоб у вас все устроилось с жильем; чтоб Ирину не подвело здоровье—двое ребят... курит она много. Я как-то сказала, что надо бросать, а она! «Я и сама понимаю, что надо бы бросать, мне и кофе уж горек, и сигареты... но ведь у меня только в детях да в этом и радость...»

Днем другого дня сдала ключ от квартиры в домоуправление при свидетелях, получила необходимые бумаги и расписку, что ордер сдан, а вечером Андрей увез меня на вокзал — до Москвы я уезжала поездом.

Часть третья

СИБИРЬ

Много лет размышляла я над жизнью земной.

Непонятого нет для меня под луной.

Мне известно, что мне ничего неизвестно! —

Вот последняя правда, открытая мной.

О. Хайям

Первые минуты, может быть, даже всю ночь, пока я ехала поездом «Вологодские зори» из Вологды в Москву, душа моя и ум, и сердце были переполнены разлукой с детьми и внуками. Всегда ведь кажется: им-то я нужна и им тоже жаль, что я уезжаю, будет часто меня не хватать. А уж как мне было жалко их, как я сожалела, что сделала для них мало из того, что хотелось бы, да и те ли дела и всегда ли была справедлива? И думалось, как у Ахматовой: «...умнее надо быть, умнее, добрее надо быть, добрее, но мало времени уже...»

Когда летела в самолете, поначалу думала: пыталась представить, как да что, встретят — не встретят, мало ли. Но чем ближе к Красноярску, тем волнение сильнее...

Прилетела рано утром. Встретил Виктор Петрович, расцеловались, тут же оказался еще один из красноярских писателей, затем ждали какую-то женщину, чтоб довезти до города. Она поздоровалась с Виктором Петровичем, поблагодарила, что по-

дождали, — я будто и ни при чем. Сказал, что не выспался. Я хотела сказать: «Я — тоже», но сдержалась, поскольку у нас разные на то причины: здесь же разница во времени, и спал ли он вообще? А у меня — грусть-тоска меня съедает, и не только... Ну, слава Богу, вот он, Витя мой, по виду здоровый — это главное. А то, что разговору наперебой, как ожидала, пока нет, так теперь время наговориться будет... Что переезд сюда более чем странный — так что теперь поделаешь? Слов нет, все могло быть проще, лучше, даже радостней, но, увы...

Мы в общей сложности на Урале, значит, на моей родине, прожили четверть века. «Разнообразно» жили — в это понятие я вкладываю смысл немалый: и нужда, и дочку схоронили, и работа всякая. Но были и радости, пусть даже маленькие, и друзья были, хорошие и надежные, и в праздники гуляли не хуже людей... Все было. И милая сердцу Быковка была.

Вологодчина была как бы нейтральной полосой: ни моих родных, ни богатых, ни бедных, ни Витиных, да разве в этом дело? Зато была хорошая квартира, особенно последняя (ну не все же сразу!). Москва и Ленинград близко, и мы с Витей туда и сюда наезжали и тоже хороших друзей обрели, и радостей немало пережили.

И в Большом театре бывали — шутка ли! И самим Евгением Александровичем Мравинским были приглашены на концерт! И нам даже многие ленинградцы — завсегдаи — завидовали, поглядывали на нас с недоумением, откуда, мол, такие тут еще взялись, да на такие хорошие места усажены? А нам радостно — знай наших! Были случаи, когда с Витей обходились не лучшим образом — везде же и всюду люди разные есть, — это я всегда горько переживала, думала, если б знали, что он за человек и за писатель — за полверсты расшаркивались бы...

Как-то все будет здесь? Родни много, она, как и у меня, и у других, — разная. Так ее не переделаешь. Значит, надо принимать, какая есть? Главное, чтоб меня-то признали, в родню приняли... Еду, посиживаю, думаю, предполагаю...

Женщину высадили в нужном ей месте, а писатель отчего-то с нами. Квартиру, конечно, представляла я себе не такой, но хоть такая есть, и слава Богу! Зато место, где она находится, красивейшее, жаль только, что мне всюду, где бы мы ни жили, больше-то приходилось быть в квартире, в ней проходила большая часть моего времени, моей жизни...

Витя чай поставил греть, поскольку приехали утром, хлеба нарезал, колбасы, сахар на столе — вот, мол, располагайся, присаживайся, чувствуй себя как дома. Давай покажу, где тут что, пока чай греется. Показал, где его кабинет, где гостиная, туалет, ванная, «а там будет твоя комнатка...» Все, говорю, очень хоро-